THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

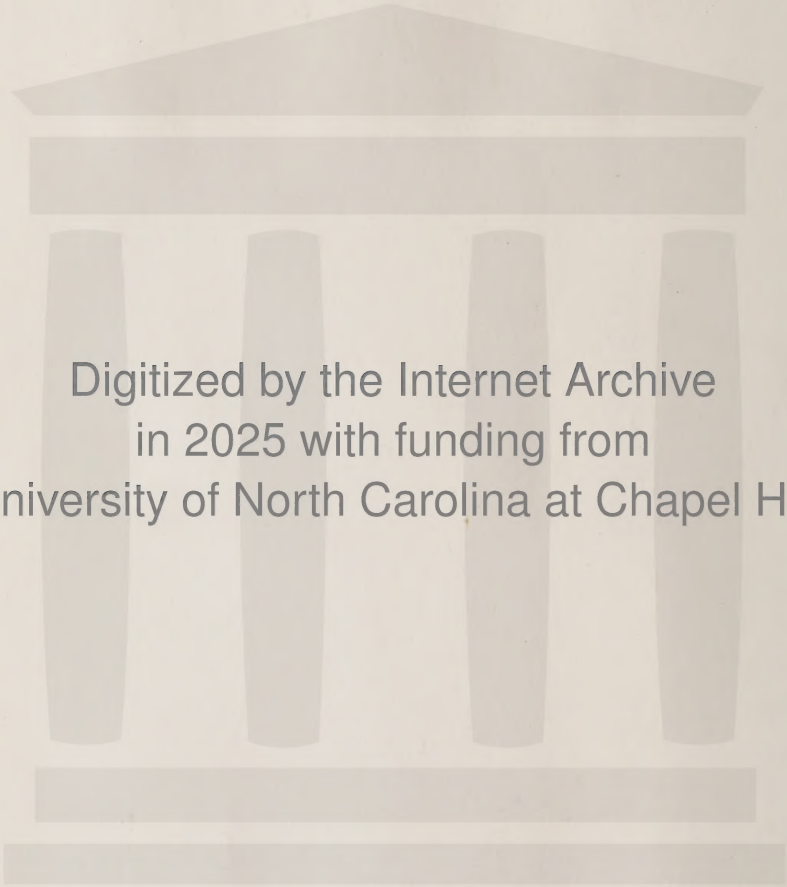
PG3467
.I 93
A6, 1912

00005618496

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
FEB 03 1996	NOV 25		

Form No. 513, Rev. 1/84



Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/razskazy00izma

А. А. ИЗМАЙЛОВЪ

РАЗСКАЗЫ

С.ПЕТЕРБУРГЪ

ИЗД. ШИПОВНИКЪ.

ИЗД.
ШИПОВНИКЪ

Типо-Литографія «ДВИГАТЕЛЬ», Казначейская 6.

А. А. ИЗМАЙЛОВЪ.

PG3467
.I93
A6
1912

РАЗСКАЗЫ.

RAZSKAZY

LIBRARY
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
CHAPEL HILL

ИЗД. «ШИПОВНИКЪ» СПБ.
1912.

БѢЛЫЙ ДУРМАНЪ.

ПЕТЕРБУРГСКІЙ РАЗСКАЗЪ.

Есть встрѣчи тайныя, всегда случайныя,
На мигъ сліяніе сердецъ и душъ...
И вновь безмолвіе, поля безкрайныя,
И одиночество, и сонъ, и глушь!..
Д. Ц е н з о р ъ.

I.

Вотъ что разсказала мнѣ одна женщина въ минуты большой откровенности.

— Если женщина говоритъ тебѣ, что она осталась вѣрна всю жизнь потому, что такъ хотѣла,—не вѣрь ей. Есть сила, болѣе могущественная, чѣмъ всѣ обѣты и долги, и есть искушенія, противъ которыхъ нельзя устоять. Если женщина устояла до конца, это только потому, что ее обошло такое искушеніе. Или она держала себя за версту отъ соблазна. Или она рыба.

Любила ли я своего мужа? Какъ сказать? Я была вѣрна ему до той минуты, когда узнала, что онъ мнѣ невѣренъ. Знай, женщина, которая дѣйствительно любила, никогда не проститъ измѣны. Въ семь разъ она заплатитъ за нее. Иногда семью семь. И этого еще мало.

Вѣроятно, любви не было. Онъ былъ мнѣ слишкомъ чужой. И я измѣнила ему. Бываютъ случаи, когда, кажется, сама природа и всѣ кругомъ заключаютъ заговоръ противъ человѣческой вѣрности.

Полунищая можетъ устоять противъ соблазна стать завтра обладательницей сотенъ. Можно противостать даже писаной красотѣ. Но нельзя устоять, когда мужчина захватываетъ тебя всѣмъ обаяніемъ силы, исключительности, извѣстности, таланта,—когда онъ кажется прекраснымъ какъ богъ.

Слушай, какъ это случилось...

Мужа не было. Уже съ мѣсяцъ его не было со мной. Ты знаешь, для женщины, привыкшей жить вдвоемъ, это тя. жело. И повѣрь мнѣ,—здѣсь не главное физіологія. Нѣтъ! Начинаешь чувствовать себя одинокой, забытой, ненужной, Въ голову лѣзетъ всякая чепуха о немъ. Съ ужасомъ думаешь о каждой горничной отеля. Если любишь, — это пытка.

Въ такомъ настроеніи можно сдѣлать Богъ знаетъ что. Въ такомъ настроеніи не надо выходить изъ дома. Моя ошибка была въ томъ, что я вышла. Я никогда не видѣла одна, какъ на городъ спускается ночь. Въ этотъ часъ черезъ Невскій я только проѣзжала въ экипажѣ и всегда съ мужемъ. Но мнѣ много разсказывалъ мужъ. Но я много читала. Въ Невскомъ ночного часа есть тайная, увлекающая сила.

II.

Былъ двѣнадцатый часъ. Самое начало мая. Уже подходили бѣлыя ночи. Но еще не пришли. Въ такіе дни не зажигаютъ фонарей. Въ двѣнадцать сгущаются сумерки, чтобы черезъ часъ порѣдѣть.

Невскій стоитъ въ этотъ часъ, какъ заколдованный. Это не ночь и не день. Не сонъ, но и не явь. Тотъ же, что былъ утромъ,—прямой, простой, длинный. Но и весь полный тайны.

Я опустила на лицо густую вуаль. Въ этотъ часъ одну меня не долженъ былъ встрѣтить никто. Уже начался разъѣздъ за границу, но одного знакомаго было достаточно,

чтобы пошли сплетни. Я тогда была моложе, стройнѣе, тоньше. Чужіе принимали меня за барышню.

Я прошла первую сотню шаговъ почти съ волненіемъ. Какъ было ново для меня это положеніе! Разгоралась ночная жизнь. «Эти» женщины, «такіе» мужчины,—о нихъ до сихъ поръ я только слышала, только читала. Теперь ихъ платья шелестѣли около меня. Одинъ вѣтеръ,—было свѣжо,—трепалъ мою вуаль и газъ ихъ шляпокъ. Дерзкіе взгляды возбуждали меня. До меня доносились грубыя слова и смѣхъ.

Мнѣ было жутко, какъ жутко опускаться въ холодное море. Но и интересно и заманчиво, какъ тамъ. Я скоро присмотрѣлась къ толпѣ. Я видѣла, что среди мужчинъ были вовсе не одни подонки и накипь города. Все увѣреннѣе мнѣ казалось, что сегодня что-то будетъ. Что-то необыкновенное, новое, неожиданное. Будетъ, будетъ, будетъ!

На углу Владимірскаго проспекта я увидѣла *его*,—этого человѣка, съ которымъ меня странно связала судьба въ ту ночь. Я узнала его сразу, никогда не видя его раньше,—по портрету.

Тогда только-что прогремѣла его большая картина изъ жизни античнаго Рима. Ее тогда же купили, какъ первоклассную цѣнность, въ академію. Не было самаго послѣдняго журнала, который бы не далъ съ нея снимка. Газетчики описывали, какъ онъ живетъ. Я знала, что нѣсколько лѣтъ назадъ онъ потерялъ жену и ребенка. Если бы я хотѣла, я могла бы знать, какъ онъ обѣдаетъ.

Его портретъ оставилъ во мнѣ необыкновенное впечатлѣніе при первомъ взглядѣ. Знаешь, есть лица, которыя залегаютъ въ памяти навсегда. Иногда для этого имъ не надо быть красивыми. На этихъ лицахъ лежитъ печать божьяго поцѣлуя въ уста. Тотъ талантливъ, кого такъ цѣлуетъ Богъ. И эти лица могутъ быть почти некрасивы. Но ихъ не забыть.

Онъ былъ и красивъ. Что было великолѣпно въ немъ, это—голова, крупная, высоко поднятая, поставленная царственно гордо. «Онъ въ этотъ міръ пришелъ, чтобъ видѣть солнце».

Этотъ орлиный взглядъ далеко впередъ, куда-то немножко повыше людей,—это было именно то, что заставило меня тогда запомнить его портретъ. Я узнала бы его среди тысячъ. И тогда же, отбрасывая журналъ, я подумала—«вотъ кого можетъ безумно полюбить женщина!..».

III.

Онъ стоялъ на углу, съ этой гордо поднятой головой, въ широкой сѣрой шляпѣ и темной накидкѣ. Онъ былъ строенъ и гибокъ, какъ юноша. Я знала, что ему было за сорокъ.

Это не была поза человѣка, вышедшаго на поиски приключеній. Онъ смотрѣлъ на проходившихъ передъ нимъ женщинъ, но это не былъ взглядъ тѣхъ, кто сейчасъ шелъ по тротуару. Вся поза выражала спокойствіе, вниманіе и безграничную грусть. Я была не такъ близко отъ него, но это угадываешь безошибочно.

«Если бы онъ присталъ ко мнѣ!» — Да, это была моя мысль. Можетъ быть, въ ту же минуту наступилъ бы конецъ его обаянію надо мной. Но это было такъ. Я хотѣла, чтобы онъ принялъ меня за «такую».

Я замедлила шаги, приближаясь къ нему. Я посмотрѣла на него, и его взглядъ скользнулъ по мнѣ—такой же умный, спокойный, холодный. Но изъ ресторана вдругъ выплеснулась группа людей. Нѣсколько голосовъ рѣзко кричали, кого-то тащили. Это былъ настоящій уличный скандалъ.

Ты замѣчалъ, въ ночномъ Невскомъ есть какая-то наэлектризованность? Въ этотъ часъ точно всѣ чего-то ждутъ. Больная тишина ждетъ не дождется перелиться въ крикъ. Въ такой тишинѣ жутко. Всегда чудится, что оттуда, съ противоположнаго конца, котораго не видно, уже надвигается что-то, чего еще не знаютъ здѣсь. Свистни или крикни,— и черезъ минуту около тебя будетъ толпа съ лихорадочными глазами.

Я почувствовала, что меня могутъ сбить съ ногъ. Остановленная теченіемъ, я стала и инстинктивно, почти съ надеждой, посмотрѣла на того человѣка въ сѣрой шляпѣ. И мгновенно отвела глаза.

— Если вы пройдете со мной,—васъ не тронутъ.

Я оглянулась. Это говорилъ онъ. Онъ былъ за моимъ плечомъ слѣва.

Слово «благодарю» вырвалось у меня машинально. Я должна была помнить, что мужчину, приставшаго на улицѣ, не благодарятъ. Но во мнѣ говорила не свѣтская дама, а только испуганная женщина.

IV.

— Если вы скажете одно слово, я тотчасъ же васъ оставлю,—сказалъ онъ, когда мы молча миновали толпу.— Но я не пристаю къ женщинамъ. Я просто человѣкъ, которому не спится.

«Вы человѣкъ, который безсмертенъ, одинъ среди этой толпы!»—могла бы добавить я. И мысль, что онъ сейчасъ откланяется и оставитъ меня навсегда, и кончится странный, сладкій сонъ,—наполнила меня безпокойствомъ. Можетъ быть, опять слишкомъ не по этикету я поторопилась сказать:

— О, нѣтъ, нѣтъ, я вижу!

Онъ продолжалъ спокойно, въ самомъ дѣлѣ, слишкомъ непохожій на тѣхъ, кто въ этотъ часъ преобладалъ на улицѣ:

— Въ безсонницу чувствуешь себя дома такимъ одинокимъ. Странно! Въ этомъ городѣ слишкомъ много такихъ. И они такъ же напрасно зовутъ сонъ, жаждутъ забвенія и видѣній и смотрятъ въ стеклянный воздухъ на неподвижные каменные дома. Но кажется, что ты одинъ во всей вселенной. На улицѣ этого нѣтъ. Тутъ жизнь. И вотъ въ эти часы я люблю этотъ безсонный городъ-призракъ, гдѣ небо безъ красокъ, и «окна бѣлыя свѣтятъ ненужно»...

Вѣроятно, мнѣ хотѣлось, чтобы онъ не подумалъ, будто я ищу приключеній. Я согласилась,—да, Невскій красивъ. Если-бъ только не этотъ торгъ!..

Онъ кивнулъ головой и, точно подумавъ минуту, продолжалъ:

— Но это не искажаетъ стиля. Въ судьбѣ жрицы любви всегда есть и было что-то мистическое. Это такъ идетъ этому городу и этимъ ночамъ. Такъ было отъ вѣка,—въ Египтѣ, въ Аѳинахъ, въ Римѣ, и есть теперь. Чувствуешь жуткую повторяемость и единство жизни, когда подумаешь, какая бездна вѣковъ прошла, сколько измѣнилось и умерло формъ и исчезло поколѣній! Но одно осталось — вѣчная тоска влеченія. Вотъ штабный писарь съ случайной подругой. Сегодняшнюю ночь онъ будетъ говорить ей на ея ложѣ то, и тѣми же пошлыми словами, что говорилъ нѣкогда такой же женщинѣ римскій легіонеръ, съ бритыми колючими щеками. И поэтъ нынѣшняго дня будетъ повторять то же, что семь тысячъ лѣтъ назадъ говорилъ Давидъ женѣ Уріи. И этотъ толстякъ—тѣ же ласковыя слова, что говорилъ великій и славный и пресытившійся царь Валтасаръ...

Я сдѣлала ироническій голосъ и спросила:

— Вы, вѣроятно, пишете стихи? Вы поэтъ?

— Нѣтъ, я художникъ. Неудавшійся художникъ. Такъ, мазилка!..

V.

Я помню каждое его слово. Я могла бы сейчасъ записать ихъ всѣ, со всею точностью. Скажи, отчего наши мужья въ минуты высшей нѣжности, высшаго вдохновенія, высшей радости, какую даемъ имъ мы, женщины,—не говорятъ намъ ничего подобнаго тому, что походя разбрасываетъ талантъ?

Передъ какимъ-то словомъ онъ затруднился. Вышло бы немножко рѣзко. Онъ вдругъ точно вспомнилъ, что говоритъ съ женщиной, извинился и продолжалъ:

— Волшебный городъ! Онъ вымощенъ не камнемъ, а воспоминаніями. Полвѣка назадъ по этому проспекту, когда еще на немъ горѣли керосиновые фонари, торопливо бѣжалъ худой человѣкъ въ порыжѣвшей крылаткѣ, съ некрасивымъ длиннымъ носомъ, съ единственной трехрублевкой старинаго образца въ карманѣ, и робко и трепетно засматривалъ подъ женскія шляпки. Потомъ шмыгнулъ въ свою Мѣщанскую, и дома загорѣлся, и написалъ «Невскій проспектъ». И тогда еще никто не зналъ, что этотъ Гоголь будетъ великимъ. Асенкову, усталую, съ сонной улыбкой на прекрасныхъ дѣтскихъ губахъ, везла по этому проспекту позднею ночью старинная театральная карета... Сколько разъ въ такую ночь туда, гдѣ скачетъ мѣдный всадникъ, приходилъ изваявшій его Фальконетъ, и стоялъ и смотрѣлъ!

— Знаете, у насъ, художниковъ, бываетъ странная тоска по тому, что мы когда-то сдѣлали и отъ чего отошли. Тянетъ, какъ преступника на мѣсто убійства. Мы видимъ тамъ совсѣмъ не то, что всѣ. Свою молодость, забытую натурщицу, умершую любовь, голодные, но прекрасные дни молодости... Иногда я беру извозчика и ѣду посмотрѣть свою картину въ...

Въ «Академію художествъ» долженъ былъ онъ сказать и во-время спохватился.

— ... И ѣду въ одну галлерею. Я прихожу и смотрю, и вижу, что́ тамъ скрыто подъ красками. Въ такія ночи, какъ сегодня, мнѣ иногда кажется, что на Невскій выйдутъ всѣ воскресшіе призраки изъ разныхъ эпохъ и пройдутъ мимо. Можетъ быть, кругомъ насъ все тѣни? Посмотрите, вонъ этотъ офицеръ. Онъ—точно изъ иллюстрацій къ Евгенію Онѣгину! А вотъ эта старуха — не съ картинки-ли она послѣднихъ модъ, приложенной къ «Библіотекѣ для чтенія» въ 41 году?..

На минуту онъ опустилъ голову, точно сгорбился, сталъ меньше.

— Въ прошломъ мѣсяцѣ отъ меня ушла натурщица,— сказалъ онъ.—Я съ ней давно работалъ. Натурщица, это— нѣчто для художника. Съ ней сродняешься. Когда она ухо-

дитъ, только тогда понимаешь, что она была немножко побольше модели и поменьше подруги...

— Она умерла?

— Она вышла замужъ за старшаго кухмистера. Рано или поздно, надо упрочивать свою карьеру. Но къ чему я вамъ все это говорю?—засмѣялся онъ вдругъ. — Вамъ совершенно неинтересна моя натурщица!..

VI.

— Нѣтъ, право,—подхватилъ онъ съ живостью,—Петербургъ хорошъ уже тѣмъ, что онъ весь фантастиченъ, и все фантастично въ немъ. Не знаешь, что будетъ черезъ часъ. Какъ это хорошо, что вы не знаете меня, я—васъ. Мы просто—люди, безъ кличекъ, безъ ярлыковъ. Ничто не обязываетъ насъ къ условленнымъ любезностямъ. На минуту мы можемъ забыть, что въ обществѣ нельзя заговорить мужчинѣ съ женщиной, не будучи представленнымъ. Можетъ быть, я—бѣдный живописецъ, случайно сорвавшій 25 рублей, распившій на радостяхъ бутылку плохого вина съ голодными пріятелями и расчувствовавшійся передъ незнакомой женой дѣйствительнаго статскаго. А можетъ быть, я—состоятельный нотаріусъ, а вы—бѣдная классная дама, которую дома ждетъ бабушка семидесяти трехъ лѣтъ. Можетъ быть, мы оба фантомы. Сѣдое небо станетъ синѣе,—утро разнесетъ насъ, какъ дымъ. Отъ нашей встрѣчи не останется нигдѣ слѣда. Мнѣ такъ плохо видно ваше лицо. Оно закутано и загадочно. Но мнѣ кажется, что оно прекрасно. Кто вы? Гдѣ вы будете завтра? Разскажете-ли вы мужу о странномъ, неожиданномъ человѣкѣ, который болталъ вамъ о мистикѣ Невскаго проспекта и мѣдномъ всадникѣ? И кто вашъ мужъ?

— Угадайте,—улыбнулась я.

VII.

— Попробую,—протянулъ онъ и началъ фантазировать. «Онъ много старше меня, думалъ онъ вслухъ, — онъ значительный чиновникъ. У него два лица. Одно — для жены, обыкновенное человѣческое лицо, простое, съ улыбкой. Другое—для всѣхъ и, въ особенности, для подчиненныхъ по службѣ. Утромъ онъ пьетъ кофе, ворчитъ, если оно остыло или ему во время не подали газетъ, и затѣмъ дѣлаетъ свое второе лицо, со строгими бровями и глазами. Довольно посмотрѣть на этого человѣка въ вицмундирѣ, чтобы у подчиненнаго отпало желаніе что-либо попросить у него. Его лицо дома другое, но душой онъ чиновникъ и дома.

— Онъ, какъ заведенные часы. А вѣдь вы другая! Вы—живая. Если бы онъ встрѣтилъ васъ сейчасъ,—онъ упалъ бы въ обморокъ...

Странно, это была правда или почти правда. Талантъ угадываетъ. Онъ точно ясновидящій. Нѣкоторыя мелочи были такія, точно онъ видѣлъ его. По какимъ намекамъ онъ угадалъ эту рознь нашихъ душъ!..

Точно дрожь вдругъ пробѣжала по моему тѣлу. Въ самомъ дѣлѣ, если-бъ сейчасъ онъ оказался здѣсь!.. Если бъ кто-нибудь другой!.. Мнѣ инстинктивно захотѣлось укрыться.

Свободное ландо поровнялось съ нами и тихо двигалось вслѣдъ. Онъ вопросительно взглянулъ на меня. Такъ, конечно, было меньше опасности. Да, не удивляйся,—случилось такъ, что мы сѣли. «На острова?»—тихо спросилъ онъ и, почти не ожидая отвѣта, громко сказалъ кучеру:

—На острова!

VIII.

...Помню острую пику адмиралтейства въ неподвижной темной зелени. Здѣсь не было уже ни малѣйшаго вѣтерка.

Тебѣ никогда не казалось въ лѣтнюю ночь это зданіе такимъ чужимъ Петербургу? Этотъ острый конусъ въ застывшемъ стеклѣ воздуха,—это точно какая-то восточная кумирня. Чудится, что тамъ, внизу, за этой зеленью, которую кто-то выгравировалъ на стали тонкимъ-тонкимъ штрихелемъ,—съ закрытыми глазами, со сложенными на груди руками дремлютъ уродливые боги...

Помню стальную потемнѣвшую Неву, аллеи парковъ, гулкіе мосты съ подбѣгавшими на нихъ безсонными мужиками, съ больными, блѣдными розами.

У одного онъ взялъ букетъ, бросилъ ему маленькую золотую монету, и я вспомнила, какъ торговался мужъ, и какъ долго за нашимъ ландо всегда бѣжалъ мальчишка въ потной рубахѣ, съ вытянутой рукой и жадными глазами.

Я понимала, что онъ бросилъ это для меня, что онъ не сдѣлалъ бы этого, если бы былъ одинъ. Но и такъ это было красиво, достойно сильнаго и счастливаго мужчины, который,—если можетъ,—дѣлаетъ все счастливымъ вокругъ себя.

Я была опьянена его близостью. Какъ-то пошло сказать—влюблена. Это было лучше того чувства, какое иногда вызываетъ вдругъ безумно понравившійся человѣкъ. Иногда ему казалось, что букетъ обременяетъ меня. Онъ бралъ его себѣ. И на секунду соприкасались наши руки.

— Вы замѣчаете,—сказалъ онъ,—нигдѣ, докуда хватаетъ глазъ, ни одного огня! Духу ночи негдѣ было бы зажечь себѣ папиросу! Можетъ быть, и стихіи нуженъ покой. И нигдѣ ни воробья, ни голубя, ни собаки! Все покорно природѣ, повелѣвающей ночью спать. Только одинъ человѣкъ идетъ противъ нея и отнимаетъ сонъ отъ лошади...

IX.

Когда онъ замолчалъ, точно усталый,—стала говорить я. Да, какъ странно онъ угадалъ обо мнѣ и мужѣ! И я

жаловалась ему. Ему, совсѣмъ чужому, такому далекому, я говорила то, чего не могла бы сказать самому близкому человѣку!

Онъ сидѣлъ, положивъ худыя руки на толстую, высокую трость. Я видѣла его капризную изогнутую тонкую бровь. Въ ней было что-то необыкновенно милое, точно уцѣлѣвшее отъ дѣтскихъ годовъ. По ней я могла представить его мальчикомъ. Мгновеніями я видѣла все тотъ же благородный подъемъ головы и его лицо, такое же грустное, блѣдное, почти съ болѣзненной желтизной, и оттѣненныя усами яркія, молодыя губы. Сладкія незнакомыя губы!..

Въ эту ночь я заѣхала къ нему. Это вышло такъ просто. У одного огромнаго дома на проспектѣ, съ стеклянной галлереей наверху, онъ сказалъ,—вотъ здѣсь онъ живетъ. Вотъ наверху его студія. И на двери его имя.

— Господи, помилуй,—неужели я не знаю вашего имени!

— Какъ? Вы знаете, кто я?

Ну, разумѣется, съ первой минуты! За кого же онъ меня принимаетъ!

— Какъ хорошо въ такомъ случаѣ, что я не сказалъ вамъ ничего, чего не слѣдовало бы говорить!

X.

...Французскимъ ключемъ онъ открылъ дверь, не вызывая швейцара. Мы поднимались высоко-высоко, на самый верхъ,—къ солнцу и къ небу. Художнику нужно солнце и небо.

Въ огромномъ незнакомомъ домѣ стояла такая сонная тишина. Я была взволнована. Но не было страшно. Во мнѣ была жуткая радость, и смутное грѣшное любопытство, и веселое ожиданіе опасности.

Вѣроятно, такъ молодой мужъ вводитъ невѣсту въ свой домъ, какъ онъ ввелъ меня. Онъ самъ помогъ мнѣ снять верхнее платье. Слуга его спалъ. Если нужно, онъ разбудитъ его. Я сказала:—«не буди!»

Мои глаза разбѣгались. Все было мнѣ такъ ново въ его студіи,—весь этотъ безпорядокъ, такъ не похожій на то, что я привыкла видѣть! Краски, флаконы, лаки на окнахъ, кисти, мольберты, холсты на полу, на окнахъ, на стѣнахъ,—все начатое, неконченное, еще безформенное. Глаза еще тусклые, безъ блеска и взгляда. Это грубое полотно онъ обращалъ въ золото. Тряпкѣ онъ давалъ жизнь, если не на вѣкъ, то на десятилѣтія.

Онъ хотѣлъ чаю, но ему самому пришлось бы ставить самоваръ. И когда онъ снова заикнулся о слугѣ, я молча дотронулась до его руки, и онъ понялъ, что не надо. Тогда онъ досталъ вино,—сладкій, обольщающій икемъ. Мнѣ хотѣлось пить, и мое сердце билось, какъ у загнанной бѣлочки, точно я бѣжала долго-долго.

Какъ онъ умѣлъ быть ласковымъ, нѣжнымъ, любезнымъ! Если все, что предшествовало этому часу, было простой ловушкой,—онъ былъ дьявольски хитеръ! Но я хочу вѣрить, что онъ былъ искрененъ тогда ничуть не меньше, чѣмъ теперь.

Я съ любопытствомъ спрашивала его обо всемъ. Любовалась его огромнымъ полотномъ, надъ которымъ онъ работалъ. Это еще была тайна отъ всего міра,—отъ всего міра! Я отворяла двери и смотрѣла въ комнаты и коридоры.

— А что тамъ?

— Если вы зайдете туда, мнѣ будетъ трудно не послѣдовать за вами...

Тогда я вошла въ его спальню, какъ школьникъ, которому хочется проказить, противорѣчить, дразнить. Онъ вошелъ за мною, подошелъ ко мнѣ близко-близко, и я почувствовала на таліи его руку...

XI.

Съ тѣхъ поръ я не видѣла его никогда. Въ Петербургѣ трудно не встрѣтиться, но я не встрѣчала его нигдѣ. Я бѣ-

жала отъ него, потому что этотъ человѣкъ могъ сломать всю мою жизнь, смять одною рукой, какъ спичечную коробочку. Когда мое безумiе прошло, я умоляла его не искать меня, не стараться узнать, кто я. Онъ далъ мнѣ слово. И сдержалъ его.

Я не видѣла его, но я слѣдила за нимъ до дня его смерти. Скрытно отъ всѣхъ я собирала, вырѣзала его портреты. Я видѣла по нимъ, какъ желтѣло, худѣло его лицо, какъ сѣдѣли его волосы. Когда въ газетѣ я читала о немъ, было такое ощущенiе, точно мнѣ приходило письмо о близкомъ человѣкѣ, и, волнуясь, я спѣшила поскорѣе увидѣть послѣднiя строки. Когда онъ умеръ,—что-то оборвалось и умерло и во мнѣ.

Онъ завѣщалъ перевезти его изъ Италiи домой. И я шла въ огромной толпѣ за гробомъ этого человѣка, и никто не зналъ, что онъ однажды былъ моимъ мужемъ.

И когда теперь при мнѣ обвиняютъ женщину за невѣрность,—я говорю: «не вините ее!» Есть искушенiя не по силамъ слабой человѣческой душѣ. Можетъ быть, надъ ней пролетѣлъ такой же, какъ надо мной, ураганъ дурманящей страсти. Пусть другiе не знаютъ,—я знаю, почему иногда женщина можетъ разбить свою и чужую жизнь, бросить, можетъ быть, даже ребенка и стать преступницей. Есть силы, могущественнѣе насъ...

Вотъ что разсказала мнѣ одна женщина въ минуты большой откровенности.

АНГЕЛЪ БЛАГОГО МОЛЧАНІЯ.

I.

Въ столовой архіерейской квартиры на подворьѣ насъ сидѣло за чаемъ пять человѣкъ, включая и самого архіерея и откуда-то къ нему приставшаго среднихъ лѣтъ монашка изъ «неожиданныхъ» людей, котораго онъ почему-то находилъ интереснымъ и отрекомендовалъ намъ, какъ такого.

Архіерей былъ пріѣзжій, недавній, молодой провинціальный викарій, и такъ какъ почти всѣ были ему такъ или иначе товарищи по школьной скамьѣ, которыхъ онъ намѣренно созвалъ повидаться, то среди собравшихся царилъ духъ совершенной непринужденности.

И самъ хозяинъ безъ клобука, рясы и панагіи, съ быстрыми, молодыми движеніями, еще не пріобрѣвшими сановитой тяжести и важности, — скорѣе казался просто молодымъ ученымъ попикомъ изъ городскихъ и «интересующихся», уже не похожимъ на того, который сейчасъ за всенощной въ золотыхъ ризахъ и шапкѣ стоялъ подъ люстрой у евангелія и которому протодіаконъ кадилъ трижды.

Когда вошелъ шестой собесѣдникъ, синодскій ревизоръ, изъ нашихъ же сверстниковъ, кругъ нашъ могъ почесться завершившимся, и келейнику данъ былъ наказъ говорить, что владыка сегодня уже никого не приметъ.

— А я сейчасъ изъ любопытнаго мѣста и подъ любопытнымъ впечатлѣніемъ, — сказалъ вошедшій. — Какъ бы вы думали, кого я сейчасъ слышалъ?

И, зная, что этого угадать невозможно, онъ самъ отвѣтилъ:

— Льва Толстого!

Толстой тогда былъ еще живъ, но всѣ мы знали, что нашъ синодалъ сидѣлъ въ послѣднее время неотлучно въ столицѣ, и было странно, гдѣ онъ могъ его услышать.

— Только-что появились граммофонныя пластинки съ начитанными имъ рѣчами, — пояснилъ онъ. — Онѣ еще не поступали и въ продажу. Ихъ еще пошлютъ ему на утвержденіе, и скоро всякій, кто захочетъ, ихъ услышитъ.

II.

— Какое же твое впечатлѣніе?—спросилъ архіерей.

Исполнявшій роль хозяйки налилъ пришедшему чаю, тотъ погрѣлъ о стаканъ руки и отвѣтилъ:

— Какъ тебѣ сказать? Я еще не совсѣмъ и самъ разобрался, но пока я весь охваченъ впечатлѣніемъ странности. Вѣдь, вотъ онъ умретъ, этотъ старикъ,—рано или поздно должна совершиться эта печальная исторія. Онъ умретъ, а это останется. И какъ тогда странно и трагично, и фантастически прозвучатъ его слова! «Смерти нѣтъ, есть только переходъ къ другой жизни. Будущее не только сокрыто отъ насъ, оно и не существуетъ», и т. д. Не покажется ли это волшебствомъ? И явись Эдисонъ ранѣе, для насъ жили бы прошлые вѣка! Мы могли бы слышать, какъ наши отцы дѣлали предложенія нашимъ матерямъ...

— И свой собственный крикъ при рожденіи!—засмѣялся кто-то.

— Ну, а какъ же, однако, передано сходство?—спросилъ архіерей.

— Всѣ были очень довольны. Что до меня, я глубоко разочарованъ. На своемъ вѣку мнѣ посчастливилось слышать Толстого. У него былъ тихій старческій голосъ, такой ровный, спокойный, медлительный, — тотъ мягкій голосъ, который почти хочется назвать «бабьимъ». Изъ другой комнаты черезъ дверь не сразу отличишь, кто

говоритъ — мужчина или старая женщина. И легкое шамканье, и нѣкоторый какъ бы надломъ, но вмѣстѣ и необычайная и прекрасная выразительность и ясность каждаго слова,—ясность человѣка, который каждую минуту привыкъ думать о другомъ и боится, какъ бы не затруднить его, не заставить ни напрягать слухъ ни переспрашивать. И вотъ я услышалъ рѣзкій, какъ бы въ десять разъ увеличенный и какъ-то странно торопящійся голосъ,—тотъ и не тотъ! Толстой никогда не говорилъ такъ громко, съ такими почти басистыми нотами, никогда такъ не торопился. И въ то же время это, несомнѣнно, былъ его голосъ, его мастерскія логическія ударенія на словахъ, его надтреснутость, которая, вѣроятно, усилилась въ послѣдніе годы, его «с», впадающее въ «ш». Потомъ подвернули какой-то винтикъ, онъ заговорилъ медленнѣе, но опять это былъ онъ и не онъ. И я подумалъ,—будущія поколѣнія станутъ слушать его голосъ и будутъ разочаровываться. Они представляли этотъ образъ такимъ тонкимъ, прекраснымъ,—онъ окажется болѣе грубымъ, обычнымъ, земнымъ...

— Какъ всякій великій образъ, который человѣкъ старается приблизить къ наглядности,—докончилъ кто-то изъ насъ.—Какому актеру когда-нибудь удавался Цезарь, и какая актриса могла бы не испортить образа, напримѣръ, дантовской Беатриче? Коммисаржевская говорила, что она никогда не читала вслухъ стиховъ Пушкина и не могла ихъ слышать ни въ чьемъ исполненіи. Всякій голосъ испортитъ Пушкина,—его можно читать только про себя...

III.

— Судя по этому замѣчанію,—сказалъ архіерей,—она была удивительной чуткости женщина. А перейдите въ область еще болѣе высокихъ примѣровъ. Кто могъ бы, напримѣръ, возсоздать голосъ Моисея, говорящаго съ Синая, или, — поднимемся еще выше,—голосъ Христа? Я ни-

когда не былъ на мистеріяхъ Страстей Господнихъ, но думаю, что толстый нѣмецъ, изображающій Іисуса изъ Галилеи, оставилъ бы меня совершенно холоднымъ. И даже всякій человѣческій голосъ, хотя бы и былъ скрытъ говорящій. Ибо, если бы это былъ прекрасный, звенящій и исполненный мощи голосъ, не показалось ли бы намъ, что онъ слишкомъ громокъ и какъ-будто недостаточно святъ и немножко нескроменъ? А если бы онъ былъ гибокъ, пѣвучъ и нѣженъ, не сказали ли бы мы, что онъ черезчуръ сладокъ, какъ голосъ моднаго опернаго тенора, и въ немъ есть нѣчто отъ земной страсти?

Всѣ мы съ нимъ совершенно согласились, а молчавшій дотолѣ монашекъ нервно задвигался на своемъ стулѣ, покрутилъ худенькими ручками и прибавилъ:

— Ему и подобаетъ молчаніе, ибо безмолвіе выше слова. «Не проречетъ, ни возопіетъ, ниже услышитъ кто на распутіяхъ гласа Его». И на доносы неправедные Онъ молчалъ.

— Но что вы хотите сказать этимъ—«безмолвіе выше слова»?—спросили мы,—и откуда это слѣдуетъ?

— Святые отцы такъ учили,—пояснилъ инокъ. — Въ комъ есть хотѣніе говорить, у того еще не заключены желанія, тотъ не удовлетворенъ еще и не полонъ. На небѣ молчатъ, а не разговариваютъ, и пламеннѣйшая молитва дѣется въ молчаніи. Богу нечего говорить, — у Него какъ бы все сказано. И на землѣ выше нѣтъ подвига безмолвія. Вонъ въ святцахъ всякой праведности много,—и затворниковъ, и пустынножителей, и столпниковъ, а безмолвниковъ всего Аѳанасій да Онуфрій, да Ѳеодоръ. Потому и Христосъ есть Ангелъ благого молчанія, и такъ и на иконѣ пишется.

— Отецъ Филоѳей, кажется, самъ иконописецъ! — не то пояснилъ, не то спросилъ архіерей.

— Какъ же, владыко! Восемнадцатый годъ мы на этомъ послушаніи.

— И скажите, вамъ доводилось видѣть эту икону? — спросилъ священникъ, товарищъ архіерея.

— Господи, да какъ же! Даже и самъ разъ писалъ отцу моему и старцу Нилу на Валаамѣ. Ему самому, какъ слѣпцу, иконы не надо, а заказалъ мнѣ это въ его келію игуменъ, о. Антоній.

— Представьте, я никогда не видѣлъ!.. Какъ же она пишется?

— Подобіе ангела свѣтлаго и прекраснаго, — объяснилъ монахъ.—Волосы кудрявые на плечахъ, за плечами крылья огненны орли. Далматикъ и туника съ каймою златой. Ручки въ поручахъ крестообразно на груди сложены надъ поясомъ, а надъ нимбомъ надписаніе — «Іисусъ Христосъ, Благое молчаніе». А потому Ему такое имя, что Онъ есть полнота и источникъ и богатство всяческой истины и добра и подвига.

IV.

— Можетъ быть, вамъ случалось видѣть и молчальниковъ? — спросили мы.

— А какъ же иначе? О. Нилъ, слѣпецъ, что былъ моимъ старцемъ-исповѣдникомъ, пребывалъ въ этомъ подвигѣ. Ничего не зрѣлъ и по доброй своей волѣ ничего не говорилъ. Развѣ одно слово своему вожатому—«веди». А чаще просто за рукавъ потянетъ, потому и ходу ему было только отъ скита до церкви да вспять. Такъ мы его голосъ только разъ въ мѣсяцъ и слышали.

— Это, надо думать, великая тягость?

— Великая тягость, но и великій подвигъ. Безмолвникъ никого не обидитъ, ибо онъ только съ Богомъ бесѣдуетъ. Безмолвникъ тотъ, кто говоритъ — «я сплю, а сердце мое бдитъ». Святые отцы говорили, что монаху помогаетъ человѣкъ, а безмолвнику ангелъ, и вѣдома ему глубина тайнъ. За безмолвіемъ идетъ человѣку даръ прозрѣнія и вѣдѣнія словесъ твари, т.-е. разумѣніе животныхъ. Только это для земныхъ людей выше всякихъ силъ человѣческихъ.

— Вы такъ говорите, какъ-будто сами это испытали?

— Такъ оно и было. Въ бытность мою въ —скомъ монастырѣ наложилъ на меня мой старецъ такую эпитимію за ссору съ братомъ. «Затворись, говоритъ, въ отдѣльную келію, напиши на стѣнѣ мѣломъ букву «М» и блюди молчаніе столько дней, сколько вмѣстишь. А какъ не въ силу станетъ,—приди ко мнѣ и скажи.»

— И сколько же времени вы выдержали?

V.

Инокъ сморщилъ исхудалое желтое лицо въ улыбку, но сразу же вернулъ серьезность лицу и строгость голосу.

— На третьи сутки, въ полдень, по немощи моей не утерпѣлъ. Поистинѣ, выше всякихъ силъ человѣческихъ! Кажись бы, что такое—три дня промолчать, и молчатъ же подневольно въ тюрьмахъ али въ маякахъ по недѣлямъ! Но доброхотно на себя наложить это истязаніе, — нѣтъ никакой возможности! Иному, можетъ быть, и ничего, а человѣку разговорному и открытому—смерть. Какъ земля передъ грозой, весь ты полонъ силы и устремленія, а уста сомкнуты, и все это въ тебѣ бродитъ, какъ крѣпкое вино. Находятъ смятеніе и такая тоска, что хоть руки на себя наложить. Стѣнѣ бы слово сказать, и то уже утѣшенье!

— Ну, и какъ же вы?

— На третьи сутки, о полдень, пришелъ къ старцу. Говорю, — «разрѣши, отче, нѣтъ моего состоянія! А онъ мнѣ въ отвѣтъ: — «Не чаялъ я, — говоритъ,—что ты столь крѣпокъ будешь. Иные однѣ сутки едва вмѣщаютъ. Понялъ ли ты теперь, что жъ бы это было, если бъ ты на всей землѣ одинъ былъ, и какое тебѣ благо дано въ ближнемъ твоемъ?» — Понялъ! — «Ну, иди, селись съ нимъ снова во единой кельѣ, да не сварься»...

Разсказавъ свою исторію, монашекъ точно раскаялся, что такъ долго «утрудилъ» общее вниманіе, и самъ по-

чтилъ «благое молчаніе» настолько рѣшительно, что его уже стало трудно расшевелить. Точно желая предоставить насъ самимъ себѣ, онъ скоро положилъ свой стаканъ бокомъ на блюдечко, торопливо благословился у хозяина, нервно обошелъ всѣхъ насъ, прощаясь, и подъ какимъ-то предлогомъ покинулъ наше общество.

Архіерей спустился куда-то внизъ, вернулся съ толстой книгой по иконографіи и показалъ намъ въ простомъ типографскомъ рисункѣ наглядное изображеніе Ангела благого молчанія.

На насъ смотрѣло юное, святое лицо, — болѣе лицо женщины, чѣмъ мужчины. Прекрасные кудри прядями разсыпались на его плечи. Маленькія ручки были кротко сложены на груди. Но въ глазахъ, подъ вскинутыми бровями, было не столько выраженіе совершеннаго покоя и безмятежія желаній, сколько доброй грусти и наивнаго, трогательнаго удивленія.

VI.

Всего менѣе я думалъ вспомнить объ этомъ монашкѣ и объ ангелѣ благого молчанія тамъ, въ далекомъ и знойномъ каменномъ Римѣ.

Стоялъ іюльскій зной. Каждый день съ утра было сухо во рту, и пыль обильно ложилась на бѣлоснѣжный мраморъ памятниковъ и домовъ. Раскаленные камни площадей жгли ногу черезъ тонкій башмакъ. Пенснэ на носу и цѣпочка часовъ на улицѣ становились горячи, точно вынутые изъ кипятка. Воздухъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ.

Въ палаццо, снятомъ извѣстной русской артисткой, все было не по-нашему. Сквозь стекла оконъ, наполовину прикрытыхъ створчатыми ставнями, влеталъ въ комнаты веселый и болтливый, непривычный звонъ католическихъ колоколовъ. Не языкъ билъ о стѣнки, но сами колокола, раскачиваясь, ловили языкъ. Упрямо и несуразно ревѣлъ

на улицѣ оселъ. По паркету медленно и тяжело ползала большая противная черепаха, странная здѣсь, рядомъ съ прекрасной женщиной, среди изящныхъ картинъ, бездѣлушекъ и мебели-модернъ. Стрѣлка столовыхъ часовъ стояла на двѣнадцати. На молодой женщинѣ было какое-то широкое воздушное платье, похожее на капотъ, котораго, казалось, вовсе не чувствовало тѣло.

— Завтра,—сказала она,—мы покажемъ вамъ то, чего не указываетъ Бедекеръ, и что обыкновенно пропускаютъ русскіе туристы въ Римѣ. Поѣдемте на кладбище капуциновъ и въ монастырь траппистовъ.

— А почему не сегодня?

— Монастырь траппистовъ—въ малярійной мѣстности. Послѣ шести часовъ туда не поѣдетъ тотъ, кто не хочетъ получить лихорадки. А вы знаете, какъ трудно отъ нея избавиться! Иные лѣчатся годами!

VII.

— Трапписты, это, помнится, монахи-молчальники?

— Да. Это старый и уже вымирающій орденъ, одинъ изъ самыхъ старинныхъ. Они говорятъ только два слова «memento mori», — при встрѣчахъ, при разставаньяхъ. Въ старые годы они спали въ гробахъ, на соломѣ, а весь день уходилъ у нихъ на огромный полевой трудъ и службы. Ихъ уставъ велитъ имъ каждый вечеръ работать нѣсколько минутъ надъ сооруженіемъ для себя могилы. По очереди они получаютъ послушаніе принимать посѣтителей, водить ихъ по монастырю и давать объясненія. Это какъ въ катакомбахъ. Вы пріѣзжаете и просите себѣ проводника на томъ языкѣ, какой понимаете. Тогда вамъ дадутъ брата-француза, нѣмца, итальянца или испанца.

— И когда онъ кончитъ обходъ, онъ возвращается къ своему безмолвію? И вы думаете, что это, дѣйствительно, такъ, и святые отцы въ остальное время не дуются въ

карты и не пьютъ какой-нибудь чудесный ликеръ собственной монастырской марки?

Артистка засмѣялась.

— Ручаться не могу. А, кстати, они, дѣйствительно, выдѣлываютъ великолѣпный ликеръ изъ эвкалиптуса, который тамъ растетъ рощами. Это похоже на бенедиктинъ, только гораздо тоньше и своеобразнѣе. Но вотъ вы смѣетесь, а, въ сущности, уже одно то, что они живутъ т а м ъ, въ этой гнилой мѣстности, гдѣ ядовитъ самый воздухъ и гдѣ послѣ шести часовъ они сидятъ взаперти, — есть уже подвигъ, если медленное самоубійство есть подвигъ. Полтора года назадъ мы встрѣтили тамъ молодого монаха-итальянца съ такимъ интереснымъ лицомъ!.. Недавно мы увидѣли его исхудалаго, почернѣвшаго, высохшаго. Въ одинъ годъ у него вывалились всѣ зубы.

— Это становится интересно. Покажите намъ траппистовъ!

VIII.

Дневной зной спадалъ, когда наемное ландо везло насъ въ предмѣстье Рима, и копыта горячихъ лошадей рѣзко били въ остывающія плиты дороги.

Былъ по-нашему пятый часъ, когда мы подъѣхали къ стѣнамъ монастыря и дали звонокъ. Вратарь въ грубомъ коричневомъ подрясникѣ съ капюшономъ, подпоясанный простой веревкой, молча поклонился.

Молодой братъ, еще безусый и безбородый, въ такой же рыжей хламидѣ, съ такой же веревкой, стоялъ въ сторонѣ, глядя исподлобья на красивую женщину изъ другого міра. Я невольно подумалъ, не тотъ ли это юноша, но какое-то подобіе улыбки скользнуло по его лицу, и на секунду мелькнули бѣлые крѣпкіе зубы.

За высокими стѣнами, отъ высокихъ вытянувшихся по всей аллеѣ эвкалиптусовъ, закрывавшихъ небо, здѣсь казалось темнѣе, чѣмъ на дорогѣ. Точно спускались лѣтнія

сумерки гдѣ-нибудь въ тепломъ южномъ русскомъ городѣ. Эвкалиптусы насыпали на землю тысячи побурѣвшихъ засохшихъ листьевъ, и вялый, пряный запахъ, похожій на запахъ кардамона, чувствовался во всей аллеѣ.

Онъ шелъ, густой и сильный, отъ рукъ, когда мы поднимали и растирали засохшія листья. И стволы всѣхъ деревьевъ, сколько ихъ ни было, сажени на двѣ отъ земли были какъ бы обглоданы или облиты кислотой, съѣвшей ихъ кору. «Вотъ она малярія!—кивнула головой артистка.—Что же она дѣлаетъ съ людьми»?—Монахъ поймалъ доступное ему слово и, намъ показалось, ниже опустилъ голову.

IX.

Безконечная грусть, какой я не улавливалъ въ русскихъ монастыряхъ, была разлита здѣсь въ этомъ царствѣ вольнаго и невольнаго умиранія людей и природы, и гдѣ!—подъ волшебнымъ небомъ чудеснаго Рима! Это было какое-то заколдованное царство молчанія въ удивительно схваченныхъ бёклиновскихъ тонахъ.

Не было малѣйшаго движенія въ пыльныхъ вѣтвяхъ деревьевъ. Не видно было нигдѣ никакой живности. Когда по выходѣ я увидѣлъ на дорогѣ птицу, я подумалъ. «Какъ странно, туда точно не залетаютъ и птицы!». На доскѣ у старенькой каменной церкви на нѣсколькихъ языкахъ было написано—«Здѣсь не говорятъ».

Мы спросили провожатаго съ французскимъ языкомъ. Вышелъ высокій, стройный монахъ, съ той же веревкой вмѣсто пояса и четками. Лобъ и лысина его были сожжены солнцемъ. Самая несомнѣнная сѣдина какъ-то подбиралась снизу изъ-подъ бороды и бакенбардъ, но еще были черны усы и брови.

Какое-то чувство деликатности побѣждало наше любопытство. Мы не задали ему ни одного вопроса о немъ са-

момъ, о внутреннемъ бытѣ монастыря. Безъ воодушевленія, какъ бы отбывая повинность, односложно отвѣчая на вопросы, онъ водилъ насъ изъ пустынной церкви въ старую сакристію, въ трепезную, въ часовни, останавливалъ передъ болѣе интересными престолами и картинами.

Не было ничего первокласснаго и ничего болѣе сильнаго, что на секунду смахнуло бы гнетущее настроеніе унынія, самоотреченности и смерти, разлитое повсюду. Мы слѣдовали за нимъ и, кажется, всѣ думали больше о немъ' этомъ французѣ съ глубоко ушедшими темными глазами-въ которыхъ было что-то знойное и затаенное, и только изрѣдка обмѣнивались словами.

Побѣлѣвшіе стволы эвкалиптусовъ были испещрены иниціалами и фамиліями туристовъ. Ихъ вырѣзали ножемъ, писали чернильными карандашами.

— А если бы мы захотѣли, можно? — освѣдомилась артистка. Монахъ едва улыбнулся. — «Можно!»

Мы бросили взглядъ на эти живыя записныя книги. Не было ни одного родного имени, ни одной родной буквы!

— И не найдется ни одного монаха, который говорилъ бы на нашемъ языкѣ!

— Если бы синьора хотѣла, я могъ бы дать объясненіе по-русски.

Онъ сказалъ это на нашемъ языкѣ безъ малѣйшаго акцента. Всегда удивляетъ родной языкъ тамъ, гдѣ его не ждешь, на чужбинѣ. Но въ эту минуту мы были поражены...

— И вы говорите свободно?

— Совершенно свободно.

— Такъ, можетъ быть, вы русскій?

Вопросъ сорвался у нашей спутницы почти невольно, и въ ту же минуту и ей и всѣмъ намъ стало ясно, что его не слѣдовало задавать. Монахъ нервно вытянулъ руки изъ-подъ веревки, — на нихъ еще были ея слѣды, — недоумѣнно развелъ ими и мягкимъ голосомъ, какъ бы боясь обидѣть женщину, сказалъ:

— Но, вѣдь, я умеръ!..

X.

У маленькаго навѣса, гдѣ торговали образками, сувенирами, цѣпочками, крестиками и эвкалиптиномъ трое монаховъ, сытыхъ и довольныхъ, съ веселыми огоньками въ глазахъ, загорѣвшимися при видѣ женщины,—было уже совсѣмъ не то настроеніе. Не хотѣлось разбивать прежнее, и мы торопливо купили на память маленькіе, изящные флаконы ликера и вышли изъ ограды.

На пыльной дорогѣ было еще совсѣмъ свѣтло. На козлахъ и на скамеечкахъ ландо сидѣли Богъ вѣсть откуда взявшіеся ребятишки. Крошка бамбино сидѣлъ на рукахъ веттурино и совалъ зеленую травинку въ ротъ лошади. Дверь мягко шлепнулась за нами и отдѣлила мертвое царство отъ царства живыхъ.

— Нѣтъ, какъ онъ меня оборвалъ!—сказала артистка.— Но онъ совершенно правъ, и мнѣ подѣломъ. Конечно, онъ русскій. Но тотъ, прежній, дѣйствительно умеръ, разъ онъ пришелъ сюда...

Не за горами былъ римскій вечеръ, и можно было предчувствовать, что онъ будетъ тепелъ и мягокъ и грустенъ. Еще слабый ароматъ эвкалиптовыхъ листьевъ шелъ отъ нашихъ рукъ...

Вотъ прошелъ еще одинъ день, вотъ мелькнули еще новыя любопытныя впечатлѣнія. Мы были молоды, довольны и счастливы, но было сейчасъ немножко печально наше счастье.

Молодая женщина молчала. Легкая краска выступила на ея щеки. Было ясно, — и она, какъ и мы, не могла оторвать своихъ мыслей отъ этого страннаго, незнакомаго человѣка. Кто онъ былъ, что сожгло его душу тамъ, въ прошломъ? Не отъ такой ли, какъ она, женщины, сломившей его жизнь, какъ ломаетъ ребенокъ карточный домикъ, — убѣжалъ онъ сюда, подъ чужое небо, покидая родину, родныхъ, можетъ быть, богатство и почетъ, чтобы найти покой у того же всеисцѣляющаго Ангела благого молчанія?..

ПОДЪ ЗВѢЗДАМИ.

I.

Если принять во вниманіе, что передъ пасхальною ночью, съ заходомъ солнца, всѣ черти становятся необычайно злы, и еще въ прошломъ году наша Дуня въ этотъ часъ видѣла бѣса, перекинувшагося въ черную собаку, то совершенно понятно, что, когда я вступаю въ преддверіе кладбищенской колокольни, гдѣ черно, какъ въ дантовомъ адѣ, мое восьмилѣтнее сердце дрожитъ, какъ у взятаго въ руки дикаго котенка.

Я вынимаю изъ кармана спички и зажигаю церковный огарокъ въ ручномъ фонарѣ. Тьма разбѣгается по угламъ, и въ каменной комнатѣ, похожей на казематъ тюрьмы, становится свѣтло, по крайней мѣрѣ, настолько, чтобы видѣть, что никакой нечисти здѣсь нѣтъ. Я хочу итти съ фонаремъ впередъ, чтобы свѣтить Артему на лѣстницѣ, но спохватываюсь, что ему рѣшительно все равно—итти впереди или сзади.

Для слѣпыхъ глазъ стараго Артема здѣсь и сейчасъ темно, какъ вездѣ, какъ было для меня нѣсколько минутъ назадъ. Всѣ, кто у насъ знаетъ Артема, помнятъ его уже слѣпымъ.

Но хотя въ глазахъ старика вѣчная ночь, онъ чувствуетъ себя здѣсь лучше меня. Когда онъ отпираетъ слѣдующую дверь, его ключъ попадаетъ въ скважину, какъ у зрячаго. Всѣ его движенія спокойны, увѣренны и чужды той растерянности, какая выдаетъ слѣпого въ непривычномъ

мѣстѣ. Его правая рука протянута впередъ, но скорѣе машинально, потому что тутъ старому звонарю, очевидно, знакомы каждая ступенька, каждый кирпичъ.

— Ну, теперь, хлопчикъ, подыми воротъ, — говоритъ Артемъ,—наверху можетъ быть вѣтеръ,—простудишься.

Я нахлобучиваю шапку, поднимаю воротъ и пропускаю дѣда впередъ. Я все-таки побаиваюсь, что мой фонарь вдругъ освѣтитъ гдѣ-нибудь въ уголку существо, похожее на тѣ, что я недавно видѣлъ въ иллюстраціяхъ къ гоголевскому «Вію».

II.

Дѣдъ идетъ увѣренно, сильно согнувшись, и какъ-то тяжело бьетъ сапогами въ каменныя ступени. Въ третьемъ ярусѣ, который уже выступаетъ надъ зданіемъ церкви, съ балки въ испугѣ срывается голубь, спросонья ударяется въ стѣну, разыскивая окно, и шумно и радостно, какъ спасшійся отъ гибели, вылетаетъ въ небо.

Въ первую минуту я невольно присѣдаю отъ страха и неожиданности, но дѣдъ спокоенъ, какъ-будто уже, идя сюда, онъ знаетъ, что въ третьемъ ярусѣ вылетитъ голубь, и тутъ пугаться нечего.

— Побьетъ шкалики, глупая птица—ворчитъ онъ.— Сказывалъ, чтобъ загородили окна,—нѣтъ. Глянь-ка, хлопчикъ, цѣлы?

Въ корзинахъ въ углу, одинъ къ другому, сложены шкалики и переложены бумажками. Рядомъ, у самыхъ оконъ, уже утверждены большіе осьмиконечные кресты съ проволоками.

— Цѣлы,—ну, то-то! Птица неразумная. Съ птицы что возьмешь? Держи шапку, милай.

Струя рѣзкаго сквозного вѣтра съ вызывающимъ озорнымъ свистомъ проносится мимо, когда мы узкимъ коридорчикомъ-лѣсенкой поднимаемся въ слѣдующій ярусъ.

Въ просвѣты оконъ я вижу ближнія деревья, обступившія церковь, еще черныя, голыя и колючія, край темнаго кладбища, съ разсѣянными тамъ и сямъ огоньками лампадокъ, и вверху небо, темное, какъ грифельная доска.

Въ самый верхній ярусъ, гдѣ самые маленькіе колокола и самыя мелкія окна, и откуда видно взморье, мы поднимаемся уже по приставной деревянной лѣстницѣ, съ которой нетрудно, зазѣвавшись, свалиться. Это всего десять-двѣнадцать ступеней, но я цѣпляюсь по нимъ не безъ жуткаго чувства.

Днемъ отсюда могилы и часовенки кажутся игрушечными, могильщики—мальчиками и дѣти—муравьями. Сейчасъ отсюда не разобрать ничего внизу, въ сѣрой массѣ, и небо со звѣздами кажется ближе земли.

III.

Вѣтеръ уже не треплетъ сѣдую бороду и волосы Артема. Въ послѣднемъ ярусѣ сквозняка нѣтъ. Здѣсь холодновато, но тихо. Шкалики будутъ горѣть чудесно!

Артемъ самъ находитъ въ углу корзину, и мы оба начинаемъ разставлять шкалики по проволокамъ. Лѣвою рукою онъ нащупываетъ проволочное кольцо, правою вставляетъ шкаликъ и дѣлаетъ это съ такою послѣдовательностью и безъ пропусковъ, что можно подумать,—онъ зрячій.

— Эге-жъ, хлопчикъ, вотъ я и еще до одной пасхи дожилъ,—говоритъ онъ.—А которая, скажи на милость,—забылъ! И хворалъ нонче дюже,—дюже хворалъ. Думалъ, не встану. Соборовался. Одначе, разсуждаю такъ, что мертвый листъ мнѣ еще, значитъ, не вышелъ.

— Какой мертвый листъ, дѣда?

— Есть такой мертвый листъ въ Требникѣ. Какъ читаетъ священникъ надъ больнымъ послѣднюю молитву, такъ ужъ онъ и знаетъ, оздоровитъ больной, ай нѣтъ.

Кому этотъ листъ вышелъ,—тому ужъ не встать,—нѣ-ѣтъ, миляга, не встать. Мнѣ о. Алексѣй тогда прямо сказалъ: «Ништо,—говоритъ,—старикъ, оздоровишь!»

— А какой же онъ, мертвый листъ?

— Мертвый, какъ мертвый,—увѣренно отвѣчаетъ Артемъ и, точно самъ раздумавшись, прибавляетъ:—Какой мертвый,—кто его знаетъ, хлопчикъ? У отца спроси. Чай, дьяконъ то же знаетъ, что и попъ, только имъ разная сила дадена. А наука у ихъ одна!.. Какъ далъ мнѣ дьячокъ Боголюбовъ, Викулъ Макарычъ, съ божеской книги копоти,—съ той поры и полегчило.

— Какой копоти, дѣда?

— Ну, вотъ что на божески книги садится. Собери ее въ церкви, размѣшай въ теплой водѣ и на тощую утробу выпей съ усердіемъ. А самъ въ это время богобоязненныя мысли имѣй. У Бога, хлопчикъ, добраго много,—только знать надо. Все на пользу человѣку дадено. Ничего, братецъ, зря не сдѣлано. Ты вотъ каждый день, какъ проснешься, перекрестись на востокъ и скажи: «Неплодствовавшій мой умъ плодоносенъ, Боже, покажи ми»...

IV.

Въ блѣдномъ свѣтѣ фонаря лицо Артема прекрасно. Мартовскій вѣтеръ слегка подрумянилъ его щеки. Волосы и борода его бѣлы, какъ ленъ, но испуганно вскинутыя брови черны. Весь нижній рядъ зубовъ, обнажающійся изъподъ большихъ хохлацкихъ усовъ, когда онъ говоритъ, сохраненъ и бѣлъ. Глаза его широко раскрыты и полны той святой и покорной грусти, какую можно подсмотрѣть только въ глазахъ слѣпыхъ. Кажется, что они видятъ что-то далекое. На самомъ дѣлѣ, если предъ ними вычеркнуть спичку или поднести къ нимъ шило,—они не дрогнутъ.

И весь онъ для меня — какъ старый библейскій мудрецъ, знающій въ своей слѣпотѣ больше, чѣмъ всѣ уче-

ные, разумные и зрячіе. Такого Артема я люблю нѣжно и трогательно, и не можетъ быть выше радости, какъ слушать его.

— Каждая былинка свою причину имѣетъ,—вѣще говоритъ онъ,—только все надо знать: и какъ ее засушить, и какъ истолочь, и когда испить. Царь въ травахъ—Иванъ-трава. Листы круглы, что твои денежки, и въ пять цвѣтовъ, а глухому дай пить,—слышать станетъ. У Верелаха цвѣтъ бѣлъ, аки лебедь, а добра, хлопчикъ, та трава отъ порчи,—ой, добра! Конуй тоже взять. У Конуя одинъ корень мужескъ, другой женскъ. Мужескъ бѣлъ, женскій смуглъ.

Кресты готовы. Мы спускаемся ниже, и я узнаю, что Конуй надо давать женѣ, разлюбившей мужа, а женщину, скорбную мѣсячною скорбью, надо поить Петровымъ Крестомъ.

— Одоленъ корень отъ зубовъ добръ,—точно себѣ говоритъ онъ.—А Переносъ сонъ чинитъ. Покуль его изъподъ головы не вынешь,—все спитъ человѣкъ. А Абисъ, а Змѣйка, а Сотъ, а Ладанъ лѣсной! Погрызи его,—сердце успокоится. Кошка, и та ему рада. Дохтора валерьнкойя зовутъ, а по нашему, по старинѣ, Лѣсной ладанъ будетъ... А что, милачокъ, много звѣздъ на небѣ,—не вижу.

— Много.

— А небо темное?

— Те-емное.

— Чую, а почему чую,—не знаю.

Артемъ подходитъ къ самому пролету окна и смотритъ въ черный воздухъ, точно что-нибудь можетъ тамъ увидѣть.

— И въ камнѣ, хлопчикъ, та же Божія мудрость и сила, и въ звѣрѣ,—продолжаетъ онъ, снова принимаясь за шкалики.—Кошка въ Благовѣщенье птицу не трогаетъ. Которая мышь крошку святой пасхи съѣстъ,—въ кожана (летучая мышь) превращается. Всякаго звѣря, скажу тебѣ, можно не лаской, такъ умомъ взять. Служилъ это въ Иркутскѣ

архирей. Забылъ, какъ звали. Вотъ разъ за именитымъ обѣдомъ, говорятъ при ёмъ, какія иногда злыя собаки бываютъ. «А я,—говоритъ,—никакой собаки не боюсь». Это архирей-то. «Ну,—говорятъ—а такой, какъ у купца Юхина, и вы испужаетесь. Звѣрь! Кошекъ, собакъ рветъ десятками».—«А меня,—говоритъ, — не тронетъ». Смекай, хлопчикъ, что архирей-то говоритъ. «Ведите,—говоритъ,—меня къ ей и спустите ее на меня съ цѣпи». Давай тутъ его уговаривать: «Изорветъ-де васъ собака».—«Нѣтъ,—говоритъ,—она меня не тронетъ, и я ее не трону, только поглажу».

V.

Далеко въ черномъ и холодномъ воздухѣ вдругъ вспыхиваютъ огни. Они растутъ, яснѣютъ, и на фонѣ мрака я вижу явственный огненный крестъ. Это зажгли на сосѣдней Благовѣщенской церкви.

Колокольни не видно, и крестъ стоитъ одиноко въ небѣ подъ звѣздами, какъ прекрасное знаменіе, такъ что жутко смотрѣть. Еще минута, и надъ нимъ выростаетъ такой же другой. Только теперь, при сравненіи, можно понять, какъ съ колокольни еще далеко до неба!

— Дѣда,—радостно говорю я,—а у Благовѣщенья ужъ зажгли!

— Ишь торопятся,—спокойно отвѣчаетъ Артемъ,—чай, полунощницу-то еще только начали. Пожди, хлопчикъ, придетъ Петра и у насъ зажжетъ. Ну, слухай дальше. Пришли это на купецкій дворъ. Собака—чистый волкъ. «Спустите»,—говоритъ архирей. «Да вы хошь палку возьмите».—«Не надо мнѣ и палки». Замѣчай, малый,—и палки не надо! Подошелъ къ ей привычный человѣкъ, спустилъ ее. Народъ весь по окнамъ попрятался. Стоитъ на дворѣ одинъ архирей, старикъ беззащитный. Только, смотрятъ, сдѣлалъ онъ шагъ къ собакѣ, а та отъ его задомъ, вся ощетинившись, пятится. Онъ къ ей спокойнехонько, а

она вся замерла и дрожкой дрожитъ. Что бы такое, хлопчикъ? Подошелъ онъ, погладилъ ее,—она ему руку лизнула. Какъ рабъ, значитъ. Очень тогда ему дивились. Почитай, за святого считали,—да и какъ иначе-то? И до самой своей смерти никому не открылъ архирей, почему такъ. Только какъ помирать сталъ, другу своему признался. «У меня,—говоритъ,—въ лѣвой полѣ была львиная шерсть зашита. Къ такому,—говоритъ,—человѣку всякъ звѣрь трепетъ чувствуетъ, потому царь во звѣряхъ левъ отъ сотворенія міра».

Я начинаю уже безпокоиться, придетъ ли во время Петръ, но не рѣшаюсь перебивать старика, а его голосъ попрежнему звучитъ надъ моимъ ухомъ:

— А камни взять. Скажи на милость, почему зерновикъ и во огнѣ хладенъ? Алмазу почему дадено прогонять пустые страхи? Который человѣкъ аматистъ носитъ,—пьянственной напасти избавленъ, а отъ смотрѣнія на смарагдъ незрячему возвращается зрѣніе.

VI.

Голосъ старика вдругъ становится грустнымъ и унылымъ, какъ жалоба.

— Ищу всю жисть, а не могу найтить этотъ самый смарагдъ камень,—говоритъ онъ.—У его превосходительства, генерала-отъ-артиллеріи Грѣшищева спрашивалъ, у многихъ спрашивалъ,—не нашелъ. Въ Афимьевскомъ монастырѣ архирей разъ служилъ. Я на клиросѣ стоялъ. Хорошій у меня, хлопчикъ, въ старину голосъ былъ. Говоритъ: «Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ». Я, какъ дурной, въ слезы. Увидалъ это онъ съ алтаря. «Эге-жъ,—говоритъ,—чего-жъ это такъ человѣкъ убивается?«—«Слѣпенькій»,—говорятъ. «Такъ чего-жъ ему плакать?» Привели меня, хлопчикъ, къ ему опослѣ службы въ алтарь. «Чему ты?»—спрашиваетъ. «Тому,—говорю,—что показалъ мнѣ

Богъ свѣтъ, да и назадъ взялъ». Такъ и сказалъ, хлопчикъ. И про смарагдъ ему сказалъ. Осмѣлѣлъ. Архирей, думаю, коли захочетъ,—достанетъ. «Пустое ты,—говоритъ,—сказываешь. На вотъ тебѣ полтинникъ». А что мнѣ полтинникъ? Мнѣ бы на смарагдъ посмотрѣть. Въ послѣдній бы годъ живота моего ясное солнце узрѣть, золотой кумполъ церковный, птицу Божью пернатую, робенка малаго...

Кругомъ въ океанѣ тьмы, которая не посвѣтлѣла, а точно стала отъ этого еще чернѣе, уже высятся огненные кресты направо и налѣво. Издали доносится глухой гулъ,—гдѣ-то уже зазвонили.

— А что, дѣда, правда это, что есть на землѣ люди песиглавцы?

Артемъ минуту молчитъ, словно думая, и отвѣчаетъ такъ же серьезно, безъ усмѣшки:

— Нѣтъ, хлопчикъ, нѣтъ такихъ людей. Бабьи то сказки. Была песья голова у святого мученика Христофора, да и то до святого крещенія. Какъ крестился, стала человѣчья, и образъ его съ песьей головой живописцамъ писать заказано. «Пишите его,—сказано,—противу великомученика Димитрія. Не подобаетъ христіанину песьей головѣ молиться».

VII.

Внизу глухо хлопаетъ дверь. Дѣдъ слышитъ звукъ почти раньше меня и говоритъ: «Вотъ и Пётра». Еще минута, и наша колокольня озаряется огнями. Петръ даетъ мнѣ длинный сильно разгорѣвшійся фитиль, и одинъ изъ крестовъ я зажигаю совершенно самостоятельно. Какъ я гордъ и счастливъ въ эту минуту,—я, возжигающій огненные знаки въ небѣ!..

Петръ сообщаетъ, что въ церкви уже пропѣли «Не рыдай мене, Мати». Плащаница уже убрана на престолъ, и, значитъ, пора начинать звонъ. Артемъ обнажаетъ голову и крестится широкимъ мужицкимъ крестомъ. —«Ну,

теперича раскрой ротъ, а не то оглушитъ! предваряетъ онъ. И онъ берется за веревку, и первый ударъ колокола, какъ бомба, прорѣзаетъ сонный воздухъ.

Я оглушенъ и, сотрясаясь отъ радостнаго дѣтскаго смѣха, вставляю два пальца въ оба уха и потѣшаюсь странно прерывающимся густымъ и великолѣпнымъ звукомъ.

Сейчасъ утреня, и я торопливо бѣгу внизъ, уже не боясь никакой нечистой силы. Я знаю, что теперь она запечатлѣна въ преисподней рукою Поправшаго адъ и смерть. У нижняго яруса я на минуту останавливаюсь. Отсюда видно густое движеніе человѣческой массы въ кладбище, и, прислушавшись, можно даже поймать смутный гулъ, похожій на гулъ далекаго улья...

Еще минута, и я стою въ залитой огнями церкви. Въ головѣ я держу мысль, что среди другихъ прошеній я долженъ помолиться о томъ, чтобы старому Артему хоть наканунѣ смерти посчастливилось достать чудотворящій смарагдъ.

ПОСЛѢ ДВѢНАДЦАТИ НОЧИ.

I.

«...Въ... театрѣ при полномъ сборѣ прошла новая пьеса молодого драматурга Модеста Назимова «Послѣ двѣнадцати ночи». Пьеса имѣла шумный успѣхъ. Автору бросили цвѣты. Это совсѣмъ молодой человѣкъ. Ему не болѣе тридцати лѣтъ. Онъ совершенно неизвѣстенъ въ литературѣ, но его первое выступленіе говоритъ о томъ, что это несомнѣнный талантъ».

Такъ напечатано въ газетахъ на этихъ дняхъ. Модестъ Назимовъ—это я. Мнѣ, дѣйствительно, тридцать одинъ годъ. Пьеса, въ самомъ дѣлѣ, имѣла успѣхъ. Вотъ уже нѣсколько дней газеты трещатъ о ней, и фельетонисты треплютъ на разные лады мое имя. Бѣлыя лиліи были брошены откуда-то сверху.

Маленькая карточка была прикрѣплена тонкой проволочкой къ стволу. Широкимъ почеркомъ тамъ были брошены только два слова — «Пожалѣвшему насъ». Моя пьеса—о падшихъ женщинахъ. Этотъ вечеръ былъ вечеромъ жалости къ нимъ. Въ Петербургѣ я пришлецъ. Въ театрѣ у меня не было ни одной знакомой женщины.

Я помню все это, какъ сейчасъ. Волновался ли я? Не скажу. Это было не волненіе, а какое-то безразличіе. Мнѣ стало страшно только на минуту, когда въ глазокъ занавѣса я взглянулъ на партеръ и увидѣлъ какъ бы раскрытую пасть чудовища.

Еще на репетиціяхъ я часто оглядывался сюда, на эту

пасть, и представлялъ, какъ она станетъ движущеюся, наполнится теплымъ дыханіемъ и броситъ мнѣ крикъ своего удовлетворенія, или измелетъ меня своими живыми зубами. Потомъ вдругъ все стало мнѣ безразличнымъ, точно я принялъ чудовищную дозу брома.

II.

Я не чувствовалъ, почему залъ замеръ,—отъ вниманія или равнодушія. Не понималъ, шумны ли рукоплесканія, или это называется холоднымъ пріемомъ. Только когда въ третьемъ актѣ директоръ подошелъ ко мнѣ и сказалъ, что теперь можно устроить тотъ авансъ, о которомъ раньше онъ не хотѣлъ слышать,—я понялъ, что пьеса удалась.

— А сколько бы вы хотѣли? — спросилъ онъ, оскаливаясь и показывая золото вставного зуба.—Это можно хоть сейчасъ.

Еще три дня назадъ я просилъ у него двѣсти рублей. Тогда онъ разсмѣялся мнѣ въ лицо и предложилъ пятьдесятъ. Я отказался, хотя только въ тотъ самый день заложилъ старые золотые часы, память отца. Теперь, конечно, онъ далъ бы мнѣ пятьсотъ. Но на меня нашелъ духъ каприза. Карманъ мой былъ такъ же пустъ, какъ и вчера, но я, не думая, сказалъ:

— Дайте пятьдесятъ.

Черезъ пенснэ онъ посмотрѣлъ на меня недоумѣвающими, удивленными глазами. Можетъ быть, онъ подумалъ—вотъ идіотъ! Но, можетъ быть, онъ понялъ, что я презираю его съ его деньгами.

— Возьмите сто,—сказалъ онъ,—мельче нѣтъ.

Тогда при немъ я передалъ бумажку сценаріусу и сказалъ, чтобы онъ далъ пятьдесять рублей на чай театральнымъ плотникамъ, а сдачу возвратилъ директору.

— Помните, что моя касса съ сегодняшняго дня для васъ всегда открыта!

Фальшивый зубъ снова сверкнулъ золотомъ. Я поблагодарилъ сухо. Теперь онъ уже не дѣлалъ мнѣ никакого одолженія. Это одолженіе сдѣлалъ себѣ я, мой талантъ! Этотъ человѣкъ—для меня только карманъ, въ который публика, какъ въ кружку, опускаетъ деньги для передачи мнѣ. Онъ—мѣняла, вымѣнивающій грязные, засаленные рубли на чистыя хрустящія сторублевки.

III.

Я помню, какъ сейчасъ, и о цвѣтахъ...

Это было послѣ третьяго акта. Театръ шумѣлъ. Въ гулкомъ крикѣ я ясно различалъ, какъ звали автора. Во мнѣ не было ни особенной, обжигающей радости, ни волненія,—скорѣе было смущеніе. Я не привыкъ къ толпѣ. Я не люблю толпы. Я видѣлъ, какъ толпа черезъ минуту отвертывалась отъ того, кого сейчасъ вѣнчала, и я ея не уважаю.

Я не видѣлъ, какъ летѣли и какъ упали эти лиліи. Я слышалъ только, какъ молодая актриса, которую я держалъ за руку, сказала мнѣ:

— Это вамъ. Поднимите.

Я наклонился къ вѣткѣ прекрасныхъ дѣвственныхъ цвѣтовъ. Бѣдные, съ какой высоты они ударились объ этотъ грязный паркетъ! Кажется, если бы я видѣлъ ихъ паденіе, мнѣ стало бы физически больно. Одинъ цвѣтокъ отломился и жалко отлетѣлъ въ сторону. Я передалъ вѣтку актрисѣ. И еще разъ мы вмѣстѣ раскланялись публикѣ.

А когда занавѣсъ опустили, она отломила мнѣ цвѣтокъ и нашла бумажку, крѣпко втиснутую въ проволоку. Я ихъ прочиталъ здѣсь же, на сценѣ, эти два слова—«Пожалѣвшему насъ».

Въ какомъ смыслѣ о н а падшая? Если среди мужчинъ трудно найти одного, который бы не стоилъ хорошей пощечины (я не выдаю этотъ шекспировскій афоризмъ за свой),

то, можетъ быть, среди такъ называемыхъ порядочныхъ женщинъ добрая четверть стоила бы желтаго билета. Или это была настоящая жрица профессіи? Но такія не ходятъ въ театръ съ цвѣтами. И какъ она могла знать, что мое слово будетъ ласкою для нея? Только потомъ я понялъ, какъ просто это могло случиться, — газеты разсказывали мою пьесу за нѣсколько дней до постановки.

IV.

Въ тотъ вечеръ меня поздравляли, со мною знакомились. Электричество нагло свѣтило въ узкомъ коридорѣ, ведущемъ за кулисы, и обливало свѣтомъ черные фраки, размалеванныя лица актеровъ и оголенныя шеи и груди женщинъ. Тутъ были и старые литературные волки, и газетная челядь, и люди «изъ публики». Я едва ли запомнилъ десятокъ лицъ и именъ.

Помню, въ четвертомъ актѣ я встрѣтилъ за сценой молодую статистку, — ея имени я не знаю и посейчасъ. Когда я былъ страшно, безумно одинокъ въ этомъ огромномъ городѣ, гдѣ никому ни до кого нѣтъ дѣла, у насъ была съ ней минута соприкосновенія. Я только-что пережилъ тоскливыя мытарства проведенія пьесы на сцену. Я былъ голоденъ, нищъ и ничтоженъ. Ей режиссеръ только-что кинулъ какую-то сальную дерзость, отъ которой мужчины расхохотались, а она расплакалась.

Въ красивомъ костюмѣ пажа,—послѣ моей пьесы репетировали Шиллера,—она стояла въ темномъ коридорчикѣ, скрываясь отъ смѣющихся статистовъ. Она не была красива, но у нея было милое дѣтское деревенское лицо. Трико обтягивало молодыя сильныя ноги. Такой же сирота, какъ она, я утѣшилъ ее, и въ этотъ день мы отобѣдали вмѣстѣ въ скверномъ и дешевомъ ресторанѣ, какъ братъ съ сестрой,—какъ братъ съ сестрой.

Теперь она встрѣтила меня съ сіяющимъ лицомъ. На

ней было то же нарядное платье (единственное!), съ легкимъ вырѣзомъ на шеѣ, въ какомъ она была на обѣдѣ.

— Какой вы счастливый! Какъ вамъ повезло! Теперь вы и знать насъ не захотите?

Можетъ быть, во всемъ театрѣ она одна была за меня безъ зависти рада. Я отдалъ ей лилію. Она вспыхнула въ видимой радости, гордая, что на насъ смотрѣли. И, пересѣкши сцену, я пошелъ къ выходу.

Возились рабочіе, сыпалъ чертей помощникъ режиссера. На томъ мѣстѣ, гдѣ я поднялъ вѣтку лиліи, валялся одинокій оторванный цвѣтокъ, превращенный въ черную слизь грязнымъ плотничьимъ сапогомъ...

V.

Какъ жутко, какъ великолѣпно одинокъ былъ я еще недавно въ этомъ огромномъ городѣ!

Мнѣ почти жаль этого одиночества теперь, когда я переѣхалъ съ Выборгской, отъ жены слесаря Синегубова, въ приличныя «меблировки» на Пушкинской, обѣдаю за званными обѣдами и, когда за ужиномъ сижу въ залѣ Палкина, ловлю время отъ времени на себѣ любопытные взгляды. У меня запоминающееся лицо, а мои портреты выставлены у фотографовъ и напечатаны въ журналахъ.

Антрепренеръ безпрекословно подписалъ мнѣ чекъ на тысячу рублей. Онъ былъ ласковъ со мной, старая лиса, какъ давнишній другъ, и предложилъ сигару. Замѣтилъ ли онъ, что моя рука дрожала отъ волненія, когда онъ помогалъ мнѣ зажечь ее. Онъ хотѣлъ бы закрѣпить за собой и мою вторую вещь.

— Уступите мнѣ ее въ исключительную собственность,— сказалъ онъ мнѣ, — и я подпишу вамъ другой такой же чекъ!..

Хитрые китайскіе глаза съ красными жилками искоса глядѣли на меня. Въ Казани у меня сестра. Мужъ бросилъ

ее съ семьей. Они кругомъ въ долгахъ. Эта вторая тысяча могла бы ихъ спасти. Но, выигрывая сейчасъ, я, конечно, терялъ бы впереди.

И я сказалъ—нѣтъ, а въ тотъ же день вечеромъ по телеграфу послалъ сестрѣ пятьсотъ рублей. Утромъ я выкупилъ свои часы, память отца, и расплатился съ ростовщикомъ и портнымъ.

Въ обѣденную пору я сижу въ домахъ, которые еще недѣлю назадъ захлопнули бы свои двери передъ моимъ носомъ. Вечеромъ, когда кончается пьеса, я возвращаюсь одинъ домой ночнымъ Невскимъ.

Въ магазинахъ погашены огни, но свѣтятъ безсонные фонари, и на проспектѣ людно, суетно и грѣшно. Я вспоминаю свой маленькій тихій городъ. Тамъ уже давно спятъ святымъ сномъ и высокія церкви и маленькіе, бѣлые днемъ, дома. Тьма протискалась всюду,—между домовъ, за низкіе заборы, въ сухія еще вѣтви деревьевъ. Если бы на сотни верстъ между этимъ проспектомъ и маленькимъ городомъ могло установиться молчаніе, я услышалъ бы лѣнивый собачій лай съ окраины и старческій бой отставшихъ часовъ соборной колокольни...

И еще я думаю о молодой прекрасной женщинѣ, бросившей мнѣ бѣлыя лиліи. Я хотѣлъ бы поцѣловать твою руку, маленькую теплую руку, взглянуть въ твои глаза и сказать—благодарю тебя, благодарю тебя!..

VI.

— Вамъ есть письмо,—сказалъ мнѣ маленькій, горбатый сторожъ въ театрѣ, снимая съ меня пальто. Я долго смотрѣлъ въ его засаленный объ стѣны горбъ, пока онъ рылся въ какихъ-то бумажкахъ, письмахъ, повѣсткахъ въ рваномъ портфелѣ.

Маленькій, узкій женскій конвертъ. Я разорвалъ его. «Сегодня маскарадъ въ собраніи. Если вы хотите увидѣть ее,

пріѣзжайте. Если вы будете въ маскѣ, приколите себѣ на лѣвую сторону вѣтку туберозы».

Подписи не было.

Я слышалъ, что такъ дѣлаютъ устроители маскарадовъ. Мужчинъ они интригуютъ письмами отъ женщинъ, женщинъ—письмами отъ мужчинъ. Въ результатѣ — у нихъ хорошій съѣздъ. Еще я знаю, что такими письмами часто дурачатъ мужчины пріятелей и женщины — нелюбимыхъ подругъ.

Никогда въ жизни я не отвѣчалъ согласіемъ на такія письма. Я ихъ бросалъ въ нижній ящикъ моего стола. Я не вѣрилъ имъ, но мнѣ хотѣлось имъ вѣрить. И было жаль бросить ихъ. Я сентименталенъ.

Но тутъ я вздрогнулъ. Это былъ тотъ размашистый почеркъ, какимъ были написаны тѣ два слова. Мнѣ почудилось, будто до меня донесся далекій, едва уловимый запахъ лилій. Чувства неудовлетвореннаго любопытства и благодарности волновали меня,—любопытства и благодарности...

Я вдругъ заторопился домой. Надо было ломать день. Надо было спѣшно доставать фракъ.

VII.

Съѣздъ былъ поздній. Какъ часто я забываю, что я въ Петербургѣ, а не въ провинціи!..

Я пріѣхалъ въ полночь, но въ залахъ еще было просторно. Въ великолѣпномъ костюмѣ стараго русскаго богатыря, съ тяжелымъ бердышемъ на плечѣ, въ тяжелыхъ высокихъ сапогахъ ходилъ извѣстный присяжный повѣренный, съ видомъ человѣка, увѣреннаго въ своемъ первомъ призѣ. Ассиріянка стрѣляла направо и налѣво наглыми цыганскими глазами. Торреадоръ близко-близко наклонялся къ лицу Юдифи.

Мимо меня промелькнули и Таисъ, и Клеопатра со

змѣйкой съ брилліантовымъ глазомъ на груди, и русалка съ чешуйчатымъ сверкающимъ шлейфомъ, и трое капуциновъ, и дѣвочка-гусаръ, и дѣвочка-матросъ, и Ночь, вся черная, усѣянная серебряными звѣздами по чернымъ кружевамъ, и Утренняя заря, вся въ розовомъ и красномъ, какъ кровь...

Я прошелъ по всѣмъ заламъ. Увы! Я никому не былъ нуженъ. Густая толпа была только въ среднемъ залѣ, около акваріума, гдѣ испуганные электрическимъ свѣтомъ шарахались въ мутной водѣ измученныя безсонныя рыбы. «Подожду часъ,—сказалъ я себѣ,—и потомъ уйду. Вѣроятно, меня мистифицировали. Подожду часъ»!..

— Какое у васъ задумчивое лицо!

Я вздрогнулъ. Маскарадная пошлость начинала бить въ глаза и лѣзть въ носъ. Но толстая, какъ бочка, маска, въ костюмѣ балерины, уже проплыла мимо меня и, оглянувшись, улыбалась, какъ акула, видимо, сама не надѣясь на свои чары. Маска въ русскомъ костюмѣ, съ бусами изъ стекла, сѣла по сосѣдству, покачивала огромной ногой, закинутой на другую, и провожала мужчинъ голодными глазами.

Когда вошла та, которую я ждалъ, я понялъ, что это она. Можетъ быть, потому, что такимъ увѣреннымъ опредѣленнымъ шагомъ она пошла ко мнѣ прямо отъ входа...

VIII.

Она была невысока ростомъ. Ее скорѣе можно было бы назвать маленькой. Польскій костюмъ былъ явно шитъ на нее, а не взятъ у перваго парикмахера. Маска портитъ самое прекрасное лицо, но и маска не могла скрыть его молодости и прекраснаго овала.

— Я заставила васъ ждать? Но я почти не надѣялась, что вы пріѣдете!

Я пожалъ ея руку. Она была холодна съ морозу, и въ ней была легкая дрожь волненія. Но былъ спокоенъ и при-

выченъ голосъ, и въ томъ, какъ она подошла и какъ сѣла рядомъ, сказывался привычный бывалый человѣкъ.

— И вотъ я съ вами!—улыбнулась она.— Я не думала, что это будетъ. Но я капризная. Чего я захочу, я добьюсь. Разъ на Невскомъ я о чемъ-то просила мужа. Онъ упрямился. «Хочешь, я стану на колѣни?»—сказала я. И я стала передъ нимъ на колѣни,—подумайте! — у Аничкова моста, средь бѣлаго дня! Онъ пришелъ въ ужасъ. Но теперь у меня нѣтъ мужа. Я свободна. Скажите, вы разочарованы? Вы представляли меня величественной, какъ королева, и брюнеткой, какъ ночь?

— Я зналъ только, что вы должны быть молоды и прекрасны, — сказалъ я. — И я не ошибся. И что бы тамъ ни было, замужемъ вы или нѣтъ, богаты или бѣдны, учены или нигдѣ не учились, я пришелъ поблагодарить васъ за то, что вы сдѣлали для маленькаго начинающаго писателя...

— Вамъ непріятно, что вы говорите, не зная и не видя съ кѣмъ?

— Есть своя прелесть въ томъ, что я васъ не знаю. Но, правда, жаль, что я не вижу вашего лица.

— Вы увидите его,—точно заторопилась она. — Не думайте, что я уродъ. Когда женщина въ маскѣ, всегда страшно, что у нея окажется носъ кіевской вѣдьмы. Я скрываю свое лицо не отъ васъ, а отъ нихъ (она кивнула въ сторону толпы). Мы уѣдемъ отсюда. Я не хочу, чтобы меня здѣсь узнали. Только погрѣюсь, и мы уѣдемъ...

IX.

Ея щеки, вѣроятно, были еще холодны отъ свѣжести улицы,—свѣжія юныя щеки, еще не потерявшія той милой округлости, какую женщины теряютъ съ первымъ ребенкомъ и съ первыми печалями. Блестѣли весело темные каріе глаза, но налетъ грусти мгновеніями покрывалъ ихъ. Слегка открытая грудь, казалось, поднялась и опустилась подъ вздо-

хомъ, когда она сказала «я свободна». Маленькая холеная ручка играла металлическимъ зеркальцемъ на длинной цѣпочкѣ, и цѣпочка была, несомнѣнно, червоннаго золота.

Кто она? Бывалая авантюристка съ огромнымъ опытомъ, несмотря на свои 23—25 лѣтъ? Жена статскаго совѣтника, которой вздумалось пошалить, когда тотъ уѣхалъ въ другой городъ къ роднѣ или на ревизію? Содержанка денежнаго туза, которая наставляетъ ему рога, мстя за подневольную жизнь съ плѣшивымъ старикомъ со вставными челюстями?

Только трудно было представить ее вѣрной супругой и добродѣтельной матерью. Въ этой больной атмосферѣ покупного веселья, подъ наглыми взглядами крашеныхъ и облѣзлыхъ мужчинъ, подъ ревнующимъ и завистливымъ глазомъ женщинъ, она не казалась ни смущенной ни насторожившейся. Она бывала здѣсь. Все это ей было привычно. Когда мы стали соображать, куда удобнѣе поѣхать отсюда, и я назвалъ нѣсколько лучшихъ ресторановъ, она энергично замахала головой.

— Нѣтъ, туда нельзя. Тамъ всѣ знаютъ.

У мѣднаго памятника царя, недалеко оттуда, гдѣ сѣрое петербургское небо прорѣзаетъ острая игла адмиралтейства, былъ недавно ресторанъ, освященный еще именемъ Пушкина. Долго тамъ показывали кабинетъ, гдѣ поэтъ сиживалъ ночами въ тридцатыхъ годахъ. Старый Мишель умеръ, умерла старая легенда...

Она сняла маску, какъ только мы сѣли въ сани. Лежалъ на дорогѣ послѣдній весенній снѣгъ, который сегодня выпалъ для того, чтобы завтра растаять. Отъ ночного морозца слегка стыли руки. Красный бархатъ ея ротонды казался чернымъ.

X.

Судьба, отказавшая людямъ нашего вѣка въ старыхъ чудесахъ, оставила намъ одно чудо,—странное чудо внезапныхъ душевныхъ сближеній. Еще не прошло четверти

часа, мы говорили съ ней, какъ старые-старые друзья. Она шла, какъ на исповѣдь, на эту встрѣчу — это она сама сказала!—и я уже зналъ о ней все такъ же просто, какъ просто увидѣлъ ея лицо, когда съ него спала маска.

Бездна дѣтской привлекательности была въ этомъ лицѣ, въ сочныхъ смѣющихся губахъ, въ разбросѣ бровей, придававшихъ всему лицу характеръ милаго наивнаго удивленія.

Когда она смѣялась, странно свѣтлѣли ея глаза, и она слегка откидывала голову, совсѣмъ какъ дѣвочка въ школѣ. И вдругъ темнѣли глаза, и маленькая, но такая глубокая и удивительно прямая, точно по линейкѣ, черточка перерѣзывала лобъ поперекъ надъ правильнымъ точенымъ носикомъ.

Я уже зналъ о ней все. Она была изъ хорошей семьи. Уже полтора года, какъ она ушла отъ мужа, чиновника съ хорошей карьерой, за котораго ее выдали безъ любви,—ушла къ человѣку, котораго любила. Онъ оказался дрянь. Теперь она игрушка немолодого, нелюбимаго, но богатаго человѣка. «Что въ имени тебѣ моемъ?» Она не вѣрна ему, она никого не любитъ и никогда никого не полюбитъ. Она падшая, и знаетъ это, и у нея бываютъ страшные дни и жуткія ночи. Но въ иныхъ положеніяхъ остается одно,—махнуть рукой и плыть по теченію.

Грѣхъ ли это, она не знаетъ. Иногда она кажется себѣ преступницей, и холодный потъ выступаетъ у нея на лбу въ одинокую безсонную ночь на одинокой холодной постели. Иногда ей кажется, что вообще на землѣ нѣтъ никакого грѣха. Все дозволено, что даетъ счастье или забвеніе. И кто скажетъ, есть ли Богъ, или въ небесахъ такъ же холодно и пусто, какъ ночью въ степи?..

Можетъ быть, на землѣ есть хорошіе люди, любящіе мужья, вѣрныя жены. Ей они не встрѣчались. Ее цѣнили только какъ красивое животное. Она видѣла глаза, горѣвшіе нѣжностью, но кто же не бываетъ нѣженъ, когда держитъ женщину въ объятіяхъ? А потомъ развѣ она не видѣла, какъ торопились уходить отъ нея эти нѣжные люди, къ своимъ честнымъ женамъ, въ свои чистыя постели?..

XI.

Она цѣдила сквозь зубы вино изъ холоднаго бокала и смотрѣла на меня потемнѣвшими глазами наказанной воспитанницы.

За стѣной въ сосѣднемъ кабинетѣ чей-то женскій голосъ начиналъ и бросалъ музыкальныя строки. Былъ черенъ глянецъ зеркала, исчерканнаго перстнями.

— Насъ много такихъ! — говорила она. — На людяхъ смѣемся, дома ночью ревемъ. Въ назначенный день приходитъ толстый чужой человѣкъ съ волосатымъ тѣломъ, и мы смотримъ въ его свиные глаза и пошло зовемъ «папкой» или «душкой». Въ три часа ночи онъ уйдетъ. Тогда мы бросаемся головой въ подушки, усталыя, измученныя, даже не закупоривъ вина на столѣ, и вспоминаемъ мать, ея ласки, наставленія, день ея смерти. И чтобы забыться и отомстить, мы зовемъ завтра за этотъ же столъ другихъ, молодыхъ, съ наглыми усами. И у нихъ такъ же нѣжны глаза, и потомъ они такъ же торопятся уходить, и, когда жмутъ наши руки, мы чувствуемъ, что имъ противно и стыдно передъ своими честными женами. И если насъ пожалѣютъ, — мы, какъ собаки, готовы лизать руки тѣхъ, кто насъ пожалѣлъ. Значитъ, есть кто-то, для кого мы не самки, не куклы изъ человѣческаго тѣла. Я смотрѣла вашу пьесу и плакала. И потомъ второй разъ поѣхала, смотрѣла и плакала. Если бы вы оказались такимъ, какъ всѣ, я была бы способна разбить вашу голову вотъ этой бутылкой. Но не сердитесь! (Она улыбнулась и нѣжно, точно извиняясь, коснулась рукой моей руки). Я знаю, что вы не такой. Я потому и говорю такъ...

Въ этотъ вечеръ я даже не поцѣловалъ ея руки. Я не свѣтскій человѣкъ, и цѣловалъ руку только своей матери. Но здѣсь я преодолѣлъ себя. Мнѣ хотѣлось чисто и благородно, и какъ бы извиняясь за весь мужской родъ, поцѣловать эти маленькіе, тонкіе, съуживающіеся къ кон-

чикамъ пальцы. Но я только пожалъ ихъ. Пусть она ничего не подумаетъ. Пусть она ничего не подумаетъ! Такъ надо!

Я былъ трезвъ въ эту ночь, хотя почти одинъ выпилъ заказанную бутылку шампанскаго. Я сталъ трезвъ и чистъ помысломъ въ ту минуту, когда она заговорила о людяхъ, дарящихъ имъ жалость.

Въ моихъ жилахъ молодая кровь. Близость прекраснаго тѣла пьянила меня. Но въ ту минуту я сталъ трезвъ, какъ монахъ, — какъ монахъ, который идетъ раннимъ утромъ по ароматному сосновому перелѣску къ заутрени, подъ святой звонъ...

XII.

Мы встрѣтились еще и еще разъ. Я побывалъ у нея. Это былъ уютный и изящный уголокъ. Большой, хорошо сдѣланный портретъ пожилого человѣка съ самодовольнымъ дѣловымъ лицомъ, — такія бываютъ у почтенныхъ банковскихъ служащихъ,—висѣлъ на самомъ видномъ мѣстѣ. Я не спросилъ, кто онъ, и по тому, что она сама не пояснила мнѣ, кто это,—было ясно, что это о н ъ.

Я влекся къ этой маленькой женщинѣ страннымъ влеченіемъ. Я старательно скрывалъ отъ нея и не могъ скрыть отъ себя, что въ этомъ чувствѣ было все, изъ чего слагается любовь. Въ душѣ жила исключительная нѣжность къ ней. Ласково я ловилъ и запоминалъ ея маленькія привычки,—традиціонные полтора бокала несладкаго шампанскаго, любимыя словечки, это откидываніе головы при смѣхѣ...

Что она чувствовала ко мнѣ? Не знаю. Но порой мнѣ казалось, что, стараясь оставить все тѣлесное т а м ъ, она не могла, оставаясь со мной, отрѣшиться отъ всего своего «тѣлесно-женскаго». Разъ она устроила мнѣ настоящую сцену ревности, когда я засмотрѣлся съ балкона, гдѣ мы ужинали, внизъ, во внутреннюю залу.

— Вы такъ смотрите на эту женщину, — сказала она, — что, не угодно ли, я васъ оставлю?.. Можетъ быть, вы спуститесь къ этой толстой акулѣ и пригласите ее на мое мѣсто?..

Я смотрѣлъ не на женщину, а на мужчину, казавшагося мнѣ знакомымъ, но я не могъ увѣрить ее въ этомъ. И она разсталась со мной холоднѣе, чѣмъ всегда.

Другой разъ, при разставаніи, она сказала:

— Всѣ мужчины всегда цѣловали мою руку. Почему вы никогда, даже ошибкой? У такихъ не цѣлуютъ, но почему же другимъ это не внушало отвращенія?

Я снова оправдывался, какъ виноватый, и моя рука дрожала отъ радостнаго волненія, когда я поднесъ къ своимъ губамъ ея дѣтскую слабенькую руку.

— Намъ нужно скорѣе раззнакомиться! — вдругъ сказала она.

— Почему? — и я вздрогнулъ.

— Потому что изъ этого ничего хорошаго не выйдетъ. У васъ своя дорога, у меня — своя. По моему капризу мы встрѣтились, и выходитъ, что связался чортъ съ младенцемъ.

— Кто же чортъ, и кто младенецъ?

Я улыбался, но у нея вдругъ потемнѣли глаза, и она сказала серьезно и горячо:

— Вы должны полюбить хорошую, чистую женщину, и если... Нѣтъ, нѣтъ ничего хорошаго изъ этого не выйдетъ.

XIII.

Днемъ я думалъ о ней и ждалъ радости ночной встрѣчи. «Послѣ двѣнадцати ночи!» — трепетно повторялъ я знакомое сочетаніе словъ... Въ одну такую ночь я опять провожалъ ее домой. Спускалась весна.

Она попросила оправить ей капоръ. Мои пальцы коснулись ея щекъ, холодныхъ и свѣжихъ, какъ щеки ребенка.

Неудержимая нѣжность захлестнула волной все мое существо. Я приблизилъ къ себѣ ея лицо и поцѣловалъ ея губы. И опять. И опять. И она вся тянулась ко мнѣ, закрывъ глаза и показывая прозрачно-бѣлые кончики зубовъ.

Я безумствовалъ на другой день, а къ вечеру позвонилъ посыльный и принесъ маленькое узкое письмо. При немъ я вскрылъ его и прочиталъ.

— «Прощайте мой милый, мой свѣтлый другъ,—писала она. — Мнѣ безконечно тяжело говорить вамъ это теперь, но сказать послѣ будетъ еще тяжелѣе. Полюбить меня вы не можете, — я скверная, такихъ не любятъ. А если вы будете моимъ безъ любви,—будетъ то, что было съ всѣми, и вы станете такой, какъ всѣ. Мое тѣло бралъ всякій, не справляясь о моей душѣ, — оно не для васъ. Этого я не хочу. Вы были для меня, какъ братъ. Теперь это не можетъ вернуться.

«Вы дадите мнѣ слово, что не будете искать встрѣчи со мной. Вы не захотите моей гибели. Развѣ мало такихъ, какъ я, травятся каждый день! А въ то, что вы меня полюбите, я никогда не повѣрю, — никогда не повѣрю!..

«Вспоминайте нашу свѣтлую сказку. Клянусь памятью матери, я не играла вами. Если вамъ тяжело, то моя душа истекаетъ кровью. Но такъ надо»...

Посыльный стоялъ въ темномъ коридорѣ, держа у груди красную шапку. На груди у него была бляха — номеръ сорокъ девятый. Я замѣтилъ смѣшной, давно зажившій шрамъ на его правой брови.

— Такъ надо!—машинально сказалъ я, безсильно опустивъ руки.

— Какъ изволили сказать?—переспросилъ онъ.

— Такъ надо,—повторилъ я, ничего не понимая и остановившимися глазами глядя на мѣдную цифру сорокъ девять...

СЛАБЫЙ ПОЛЪ.

I.

Еще съ первыхъ чиселъ декабря въ—скихъ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» на видномъ мѣстѣ, рядомъ съ объявленіями портного для духовенства, торговаго дома, рекомендующаго лучшій ладанъ, и новой иконописной мастерской, появилось слѣдующее извѣщеніе, произведшее немалое впечатлѣніе на «соотвѣтственные круги»:

«Такого-то числа, въ день рождественскихъ праздниковъ, въ трапезной Воскресенскаго мужского монастыря, съ благословенія преосвященнаго—онскаго и—енскаго, послѣ вечерни, имѣетъ быть испытаніе голосовъ лицъ, желающихъ поступить въ архіерейскій хоръ, а также оо. діаконовъ, выступающихъ на соисканіе мѣста діакона каѳедральнаго собора».

Между строкъ нужно было читать - протодіакона. Всѣ въ уѣздѣ такъ это и понимали. Прежній, когда-то голосистый и знаменитый Кириллъ, именуемый за свой ростъ и страховидность «Кириллищемъ», отъ прошлаго величія сохранялъ уже только чудесную осанку стараго посѣдѣвшаго льва. Но дрожалъ его голосъ, какъ треснувшій колоколъ, дрожали руки. Вмѣсто поклоновъ за службой онъ только слегка склонялъ голову,—голову Саваофа, самъ же не гнулся, точно весь былъ вылитъ изъ тяжелаго, несгибающагося металла, золоченаго подъ парчу.

Рождественскіе праздники были предпочтены, очевидно, потому, что въ эти дни были свободны семинаристы, не

только свои, но и пріѣзжіе. Освобождались къ четвертому дню и причты отъ славленья, и неприкрѣпленные («непріуказженные») послушники изъ монастырей.

Архіерей былъ уже въ томъ возрастѣ, когда большинство ему подобныхъ, возлюбивъ паче всего только покой, изъ всѣхъ земныхъ тщеславій оставляютъ лишь два—земныя звѣзды да благолѣпіе службы. Владыкѣ очень льстило, когда ему говорили, что такой, какъ у него, хоръ услышишь развѣ у херсонскаго Никанора или же у казанскаго Палладія, хоть объѣзжай всю Россію.

— И ваше служеніе, и басы эти... Вотъ ужъ, владыко, дѣйствительно... въ храмѣ стояще, на небеси стояти мнимъ...

Архіерей писалъ мемуары и, списывая туда только письма Побѣдоносцева и ему подобныхъ, не могъ отказать себѣ въ удовольствіи заносить и всѣ комплименты по этому адресу, хотя бы отъ простого церковнаго старосты.

II.

Духовный мірокъ былъ рѣшительно взволнованъ объявленіемъ.

У семинаристовъ, замѣтившихъ объявленіе, конечно, раньше всѣхъ, разговоры о предстоящей пробѣ начались съ самаго начала декабря. Подъ впечатлѣніемъ извѣстія десятки молодыхъ глотокъ наполнили классы и спальни громогласнымъ чтеніемъ апостола.

Проѣзжающіе мимо зданія не разъ съ ужасомъ оглядывались на него, когда въ открытую форточку ихъ потрясалъ на улицѣ чей-нибудь дикій голосъ, подобно граммофону надрывисто вопіявшій:

— А жж-ен-на д-да боится своего му-жжа!

Или:

И— прил-ложатся т-тебѣ л-л-лѣт-та ж-живота!..

Въ частныхъ семинарскихъ квартирахъ по сей же причинѣ возросла, до чрезвычайныхъ размѣровъ доза выпиваe-

мыхъ спиртоузовъ и порція не совсѣмъ безукоризненныхъ анекдотовъ.

У старенькихъ дьячковъ, у дьяконовъ и просвиренъ появились какія-то неизвѣстныя городу личности,—молодые и немолодые люди съ угрюмыми лицами и красными носами, густо крякающіе въ красные, поросшіе волосомъ кулаки, конфузящіеся и на сажень въ окружности распространяющіе запахъ спирта.

Въ гостиницѣ при монастырѣ, гдѣ жилъ архіерей, поселилось нѣсколько пріѣзжихъ дьяконовъ, а въ гостиницѣ за оградой двѣ толстыя монахини съ молоденькой хорошенькой бѣличкой, вспыхивавшей подъ каждымъ внимательнымъ взглядомъ молодыхъ монаховъ. У послушниковъ въ келіяхъ завелись постоянные гости.

Было шумно, весело и дымно, несмотря на уставъ.

Нѣсколько представителей именитаго купечества заблаговременно навѣдались въ монастырь за протекціей къ монахамъ.

— Что, отцы святые, человѣку, который посторонній, дозволено будетъ посмотрѣть и послушать?

— Всепокорнѣйше просимъ.

III.

Во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ привыкли цѣнить дьяконскую стать и дьяконскій зыкъ, цѣлые вечера уходили на анекдотику, пріуроченную къ случаю. Вспоминали наперерывъ о феноменальныхъ басахъ и чудесныхъ тенорахъ, передавали трагедіи сорвавшихся или пропитыхъ голосовъ, комедіи съ перехватами цѣнныхъ пріобрѣтеній однимъ хоромъ у другого, разсказы о недоразумѣніяхъ во время службы.

— А отецъ Корнилій спутался да какъ ахнетъ многолѣтіе «преосвященнѣйшему такому-то и супругѣ его», ну, а дѣло-то, господа, было того... немножко похоже на правду.

— А то былъ протодьяконъ,—не знаю, какъ имя. Всѣ

его Бородавкой звали, потому—у него здоровенная, можете себѣ представить, бородавка на физіономіи сидѣла. Почтенная этакая и въ волосахъ. Вотъ голосъ былъ, такъ голосъ. Въ стаканъ скажетъ: «о всей пал-латѣ и в-оинствѣ ихъ», такъ еще «палату»-то стекло стерпитъ, а ужъ на «воинствѣ»—вдребезги.

— А изволили вы слышать про протодьякона Саввушку? Преосвященный тамбовскій Евгеній его отъ сохи взялъ. Слышитъ, пахарь по полю ходитъ да таково поетъ, что на версту слыхать. А онъ, стало-быть, по епархіи съ объѣздомъ ѣхалъ. «Хочешь, говоритъ, мужичокъ, дьякономъ быть?»—«Кому жъ не охота быть дьякономъ».—«Постричь, говоритъ, его и поставить въ соборъ протодьякономъ».

— Что-жъ, поставили?

— Поставить-то поставили, и протодьяконъ вышелъ честь-честью, но только остался во всемъ мужикъ-мужикомъ. Разъ это какой-то другой дьяконъ попытался съ нимъ потягаться, кончилъ апостолъ такой высокой нотой, что другой бы померъ. Саввушка на евангеліи себя превзошелъ, а потому книгу захлопнулъ да при всѣхъ своему конкуренту и молвилъ:—«Что взялъ, свистунъ?» — А разъ Николай тамбовскій, покойный, съ нимъ за однимъ званымъ обѣдомъ сидѣлъ. Наливалъ себѣ рейнвейну да невзначай и перелей рюмку.—«Ухъ!»—говоритъ. А Саввушка тутъ какъ здѣсь:

— Ухните и мнѣ,—говоритъ,—ваше преосвященство.

iV.

Въ назначенный день Воскресенскій монастырь ожилъ. Подоткнувъ подрясники, всюду весело бѣгали мальчишки-послушники. На дворѣ была суета. Тѣ, кто собирались выступать на конкурсѣ, всѣ перебывали здѣсь еще наканунѣ,—молились угоднику, ставили свѣчи.

Среди незнакомыхъ пріѣзжихъ, конечно, налицо оказа-

лись всѣ уѣздныя «извѣстности» изъ голосистыхъ пѣвчихъ-запивохъ, непосѣдливо мѣнявшихъ одинъ монастырь и одинъ хоръ на другой, и такъ-называемыхъ «халтуристовъ» — собирателей «халтуры», «поручныхъ» даяній за подпѣваніе панихидъ и молебновъ.

Появился знаменитый Гобзъ, уѣздный оберъ-басъ и гранъ-скандалистъ, перебывавшій на своемъ вѣку, кажется, во всѣхъ монастыряхъ верхней, средней и нижней Россіи, человѣкъ, который давно бы былъ соборнымъ дьякономъ, если бы не былъ такимъ безнадежнымъ алкоголикомъ.

«На своихъ на двоихъ» подошли Тимоша Стаканчикъ, нѣкогда восхитительный альтъ московскаго митрополичьяго хора, нынѣ двадцатипятилѣтній теноръ, который могъ бы служить украшеніемъ любого хора, и вкупѣ съ нимъ колоссальный Антонъ Ершовъ, онъ же Погребокъ, октавистъ, нѣкогда служившій въ хористахъ казенной оперы.

Простымъ глазомъ послушники могли увидѣть здѣсь своихъ старыхъ знакомыхъ,—и Васю Поплавка, и Бѣса Полуденнаго, и Памву Сварогина, и разстригу-дьякона Кедрика, по прозвищу Пугача, и Іону Янтарева съ совершенно неприличнымъ прозвищемъ, и тенора Криксу-Вараксу, и дьякона Игнатія Стерлядку, человѣка съ странно выгнутой, дѣйствительно, какъ у стерляди, спиной.

Въ самый день испытанія къ воротамъ монастыря пришелъ Гришка Хрящъ, пропившійся сынъ почтеннаго протоіерея Рождественскаго (онъ же по бурсацкимъ кличкамъ Лапша, Фараонъ и Саддукей), но оказался въ такомъ видѣ, что казначей повернулъ его со двора со словами:

— Ежели бы тутъ было состязаніе, кто больше выпьетъ, такъ тебя, Гриша, мы бы въ первый чередъ. А тутъ насчетъ другого.

Въ монастырскихъ коридорахъ было шумно, какъ въ ульѣ. Къ веселью капризно примѣшалось и кой-что драматическое. У сухопараго немолодого дьякона изъ села Недагоды, обремененнаго семерыми дѣтьми, отъ волненія или

отъ другихъ причинъ, утромъ пошла горломъ кровь, и переполошился весь флигелекъ, гдѣ онъ стоялъ у монаха.

Дьяконъ было собрался уѣхать до состязанія, но потомъ остался и насмѣшилъ всѣхъ тѣмъ, что передъ выступленіемъ подложилъ на грудь шарфъ, чтобы «на смотру» не произвело невыгоднаго впечатлѣнія его тщедушіе.

Особнякомъ держался молодой человѣкъ съ рябымъ и темнымъ некрасивымъ лицомъ, большеносый и большеротый. Всѣмъ было извѣстно, что это нѣкій Синицынъ, замѣчательный октавистъ, выписанный самимъ регентомъ архіерейскаго хора, іеродіакономъ Саввой изъ Херсонской губерніи, и вѣроятнѣйшій кандидатъ на протодьяконство.

Синицынъ уже велъ себя надменно. Улыбался только для іеромонаховъ и почетныхъ людей, пѣвчихъ сторонился, къ Саввѣ имѣлъ право входить каждую минуту.

Все это веселое и мрачное, волнующееся и спокойное говорило, вполголоса напѣвало, дѣлилось чувствами. Нѣкоторые нарочно не ѣли въ этотъ день, только «пропустили» по парѣ сырыхъ яицъ, что, по общимъ увѣреніямъ, оказывало превосходное дѣйствіе на голосовыя связки. Кто-то не то всерьезъ, не то шутя увѣрялъ, что выпилъ рюмку дегтю. Иные сосали паточные леденцы, и было смѣшно, когда это дѣлали здоровяки-басы, давно сбившіе свой вкусъ водкой, «махрой» и горчицей.

Нѣкоторые достали у какого-то монаха Библію и гадали по ней, открывая наудачу, что попадется.

— Со мной неловко вышло,—съ нѣкоторымъ смущеніемъ разсказывалъ какой-то семинаристъ.—Думаю, открою наугадъ и такъ и буду знать, что первая строка—обо мнѣ сказана. Что жъ бы, вы думали, вышло? Ни больше, ни меньше—«обрящете осла привязаннаго».

Молодежь хохотала и, завидѣвъ черезъ переплетъ оконъ монастырскаго коридора молоденькую бѣличку, куда-то посланную монахинями, бѣжала посмотрѣть на нее и перемолвить съ ней слово.

V.

Послѣ обѣда, передъ вечерней, владыка подремалъ на столько удачно, что даже видѣлъ сонъ.

Снилась ему чепуха,—будто привели къ нему на судъ мужика, который перемѣнилъ православную вѣру за четвертакъ. Мужикъ говорилъ, что просто его надо перемазать, консисторія предлагала его упечь, а архіерею мужикъ былъ не столько противенъ, сколько жалокъ, и безпокоило то, что съ его сапогъ таялъ снѣгъ, и подъ нимъ все больше и больше росла лужа въ прихожей.

Владыка проснулся въ хорошемъ настроеніи, разсказалъ свой сонъ келейнику и, вспомнивъ, что сегодня «смотръ», велѣлъ подать себѣ теплый подрясникъ. Потомъ, похожій больше на самаго обыкновеннаго сельскаго протопопа, слабаго отъ старости, ворчливаго, но не злого, онъ прошелъ крытымъ ходомъ въ трапезную, примыкавшую къ монастырской церкви.

Весь синклитъ былъ уже въ сборѣ и смотръ въ полномъ ходу. Дѣло происходило во второмъ ярусѣ, на хорахъ. Внизу была трапеза. Подойдя къ периламъ, можно было видѣть расположившійся небольшими кучками народъ, любителей купцовъ и женщинъ средняго разбора. Все духовное поднялось наверхъ.

За длиннымъ столомъ, какъ бывало въ дни записи исповѣдниковъ, расположились эксперты—соборный протопопъ, кой-кто изъ дьяконовъ и монастырскій ризничій.

Регентъ Савва устроился на краю стола и безшумно постукивалъ по нему рукой съ камертономъ, въ которой было фунтовъ восемь вѣсу.

При архіереѣ торжественно провалился чахоточный дьяконъ, сказавшій возгласъ такимъ дикимъ фальцетомъ, что Савва только махнулъ рукой, а преосвященный, подъ общій смѣхъ, вслухъ сказалъ:

— Пѣтухъ.

Семинаристъ, получившій комплиментъ отъ Библіи, удивилъ всѣхъ большимъ искусствомъ владѣть голосомъ. Савва попросилъ его не уходить, въ то время какъ большинству рѣшительно предлагалъ «освобождать помѣщеніе».

Претенденты на искомую должность тянули ноты, пѣли, произносили концовки апостола. Главный интересъ зрѣлища прошелъ. Оставались голоса—третій сортъ. Архіерей поднялся и благословилъ остающихся. Внизу толпа уже совсѣмъ порѣдѣла. Какъ при его входѣ, опять спѣли хоромъ «исъ-полла-эти-деспота».

Вышло очень недурно. Владыка, безъ всякаго сомнѣнія, сдѣлалъ недурныя пріобрѣтенія. Но тутъ-то и архіерея, и всѣхъ оставшихся ждала та неожиданность, которая потомъ долго заставляла говорить о себѣ и вошла въ лѣтопись епархіальнаго анекдота.

VI.

Привѣтствіе вышло великолѣпно, но самымъ великолѣпнымъ былъ въ немъ финалъ.

— Де-е-спо-та... понеслось и замерло, густо и тяжело осѣвъ гдѣ-то внизу, на каменныхъ плитахъ пола.

И когда уже для архіерея было совершенно ясно, что пѣвцы кончили, и уста ихъ и октависта Синицына уже сомкнулись, гдѣ-то внизу еще чудесно осѣдало это божественно-густое октавное—ааа.

— Великолѣпно, — сказалъ архіерей, — а ну-ка, Савва, повторимъ еще.

Ему точно хотѣлось провѣрить эту игру звука, гудящаго еще тогда, когда уже устранилась физическая его причина.

Но что за чудо! — когда привѣтствіе замерло вторично,—густѣйшая октава совершенно ясно поддержала звукъ внизу.

— Исторія!—сказалъ архіерей.—Среди насъ есть октавистъ, и даже, такъ скажу, еще восхитительнѣе...

— Ото-жъ и я себѣ думаю и въ толкъ не возьму,— недоумѣнно развелъ руками Савва.

И, свѣсившись черезъ перила, онъ воззвалъ:

— Прошу сюда господина октависта.

Внизу трапезная была почти уже пуста.

Налѣво сидѣло нѣсколько купцовъ. Направо, откуда собственно слышался октавный раскатъ, стояли пріѣзжія— игуменья съ монахиней и бѣличка.

Савва понялъ взглядъ архіерея и быстро побѣжалъ по витой лѣсенкѣ внизъ. Въ трапезной въ самомъ дѣлѣ не было никого, кромѣ тѣхъ, кого онъ видѣлъ сверху. Но зато всѣ три женщины справа улыбались, а одна изъ нихъ, выступивъ впередъ, пояснила дьякону съ глубокимъ монашескимъ поклономъ:

— Это наша мать Епистимія.

Мать Епистимія, дородная, кубическая въ груди, стояла съ тучнымъ краснымъ лицомъ, на которомъ застыла улыбка конфуза. Можетъ быть, она была умна, но лицо ея казалось глупымъ. По началу удивившійся до ужаса и недовѣрія, Савва, взглянувъ на нее, вдругъ рѣшилъ, что—«такая можетъ», и лицо его расплылось во всю ширину.

Хорошенькая бѣличка беззвучно хохотала, показывая ямки на щекахъ и закрывая ротъ несуразно-широкимъ рукавомъ ряски.

Сказаніе повѣствуетъ, что архіерей самъ спустился посмотрѣть монашку во всей ея неприкосновенности, разспросилъ ее, изъ какой она обители, сколько ей лѣтъ и—у игуменьи—какого она поведенія.

Оказалась она дѣвушкой, поведенія преотмѣннаго, всего по двадцать шестому годку и четвертому въ рясофорѣ.

Говорила она голосомъ грубымъ и скорѣе мужскимъ, чѣмъ женскимъ, но по разговору ея никакъ нельзя было предугадать ея феноменальной октавы.

Хотя, бесѣдуя съ нею, владыка и улыбался, но отошелъ «какъ бы нѣсколько устрашенный»,—шелъ до своихъ по-

коевъ, храня молчаніе, и только уже у самой двери, благословляя провожавшаго его Савву, уронилъ «въ родѣ какъ бы растерянно»:

— Вотъ тебѣ, Савва, и слабый полъ. Но какія же, полагаю, должны быть у нея страсти...

И Савва ничего не могъ отвѣтить на это,—только задумчиво покачалъ головой передъ непостижимою властью природы...

МИРАЖЪ НА БОЛОТѢ.

I.

Я разошелся съ женщиной, увлеченіе которой было длительно и остро, и, какъ всегда бываетъ въ такихъ случахъ, жизнь вдругъ опустѣла и лишилась смысла.

Это случалось не въ первый разъ, и мнѣ было не двадцать лѣтъ. Но развѣ къ этому привыкаютъ? И, когда отходишь отъ молодости, не кажется ли каждая новая «любовь» послѣдней?

Какъ бы то ни было, но когда она уходитъ, въ душѣ все разрушено, какъ послѣ потопа, и въ одинокихъ комнатахъ пусто и холодно, какъ въ старомъ замкѣ, владѣлецъ котораго сошелъ съ ума. Пусто и холодно, какъ въ домѣ, гдѣ умеръ маленькій, блѣдный мальчикъ. Утромъ его унесли и схоронили, и уходили изъ дома всѣ, вплоть до бонны, старой няньки и горничной, и некому было истопить печи.

Ушедшая любовь дразнила всѣмъ прошлымъ, каждою мелочью, на какую только падалъ глазъ. Женщина приходитъ, какъ гость, и остается, какъ хозяинъ. И все было пусто и ненужно и безсмысленно безъ нея,—комнаты, гдѣ каждый гвоздь вбивался съ надеждою, картины и цвѣты, люди и книги. Нѣтъ болѣе ужасной привычки, чѣмъ привычка къ женщинѣ и ребенку!

Дни были безконечны, и за ними наступалъ вечеръ, которому не было конца. «Надо взять себя въ руки!—говорилъ я себѣ,—надо взять себя въ руки», но дѣло валилось

изъ рукъ. Я ходилъ по своему кабинету, и со мною ходила моя тѣнь, и тѣни одиночества осѣдали на потолкѣ. Почему я никогда не замѣчалъ васъ раньше, когда она сидѣла вотъ здѣсь, въ мягкихъ углахъ дивана, и смѣялась или глядѣла мимо меня печальными глазами, глубокими и загадочными, какъ чужая совѣсть.

Потомъ приходила ночь. Кого Богъ хочетъ покарать, того онъ поражаетъ безсонницей. Когда весь міръ спитъ, и далеко въ окно нигдѣ не видно огня, человѣкъ одинъ ходитъ или лежитъ съ открытыми во тьму глазами, десятки разъ возится со спичками, зажигаетъ и гаситъ и снова зажигаетъ и гаситъ, и при свѣтѣ и во тьмѣ читаетъ безконечную книгу своихъ воспоминаній. Ибо буквы въ ней видны одинаково при свѣтѣ и во тьмѣ.

Одиночество становилось мнѣ дальше непереносно, но стоило появиться среди людей, чтобы почувствовать, что и общество невыносимо. Было то невозможное состояніе, въ которомъ одни бѣгутъ лобызать пыльный слѣдъ ногъ любимой женщины, другіе напиваются до-пьяна или забываются въ первыхъ, хотя бы продажныхъ, объятіяхъ. Гдѣ здѣсь сила и гдѣ слабость, я не зналъ, но одинаково ни на то, ни на другое не чувствовалъ себя способнымъ.

II.

Какъ и зачѣмъ я очутился въ тотъ вечеръ на Невскомъ? Конечно, у меня не было никакой опредѣленной мысли. Всего меньше я искалъ приключеній и согласился бы на нихъ.

Но надъ человѣкомъ, привыкшимъ къ Петербургу, Невскій проспектъ имѣетъ странное и неопредѣленное обаяніе, которое выше его пониманія и внѣ его власти. Когда выходишь изъ дому съ тоской въ душѣ, не зная куда пойти, какой-то фатумъ ведетъ васъ на Невскій. У невскихъ бѣлыхъ ночей, у этой улицы, туманъ которой пронизанъ

мертвеннымъ свѣтомъ холодныхъ электрическихъ фонарей, есть странная власть, дѣлающая человѣка такимъ безхарактернымъ и безвольнымъ! Онъ идетъ съ странно притупленною душою, точно принялъ лошадиную дозу веронала, и не чувствуетъ себя одинокимъ.

Въ темныя ночи осени, когда Екатерининскій скверъ весь усыпанъ мертвыми листьями, и вѣтеръ рветъ шляпы, и въ темномъ воздухѣ, высоко, горятъ зловѣщіе, красные фонари адмиралтейства, грозящіе наводненіемъ,—все кажется здѣсь несчастнымъ и озлобленнымъ, — и городовой въ клеенчатомъ чехлѣ капуцина, и усталые приказчики, возвращающіеся съ дежурства, и озябшія, голодныя проститутки.

Но тогда былъ мягкій, печальный сентябрь, безвѣтренный, ясный. Я смотрѣлъ на Невскій и не узнавалъ его. Конечно, я бывалъ на немъ каждую недѣлю нѣсколько разъ. Десятки разъ пересѣкалъ его съ той, которую теперь оплакивалъ. Но такой, какъ сейчасъ, одинокій, свободный, я уже не видѣлъ его нѣсколько лѣтъ.

Онъ былъ грѣшенъ и зноенъ, хотя стоялъ осенній день. И въ этотъ поздній часъ все здѣсь было какъ бы раскалено однимъ желаніемъ. Когда-то онъ такъ заражалъ и меня, и студентомъ я спѣшилъ закутаться въ пледъ (тогда еще носили пледы) и исполнить гоголевскій совѣтъ—не заглядывать подъ соблазнительныя женскія шляпки.

Эти дерзкія зазывающія лица, эти глаза, играющіе фальшивымъ блескомъ въ блѣдномъ и больномъ свѣтѣ электричества, эти слишкомъ высоко поднятыя юбки, обнажающія здоровыя, упругія ноги—все это порознь грубо и вульгарно, но надо всѣмъ этимъ царитъ властная общая мысль. Она выгнала всѣхъ этихъ людей изъ домовъ, какъ выгоняла ихъ много вѣковъ назадъ на улицы античныхъ столицъ. И этотъ часъ полонъ соблазна теперь, какъ тогда.

III.

...Тогда-то я увидалъ этого мальчика. Это былъ совсѣмъ маленькій мальчикъ, на видъ никакъ не болѣе лѣтъ шести, заморышъ, съ блѣднымъ, синеватымъ лицомъ и черными кругами подъ большими, еще невинными, глазами.

Въ начальной части Невскаго есть забытый инославный храмъ съ строгими колоннами, съ стариннымъ, въ римскомъ стилѣ, фронтономъ, на которомъ съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе тускнѣетъ золото латинскихъ буквъ.

Дома съ зеркальными окнами и пестрыми вывѣсками, магазины съ мишурными пустяками стиснули его съ обѣихъ сторонъ и точно поработили его. Кажется, здѣсь никогда не служатъ, по крайней мѣрѣ, ни разу въ жизни я не видѣлъ этихъ дверей открытыми. И какъ странно прозвучали бы здѣсь псалмы и прозвенѣлъ органъ въ этомъ храмѣ, вытянувшемся въ одну линію съ домами суеты и лавками праздности!

Тутъ-то, въ уголкѣ маленькой лѣстницы, ведущей къ стариннымъ чугуннымъ дверямъ, приткнулся ребенокъ, съежившись и спрятавъ подъ себя ноги. Онъ былъ такой маленькій, что можно было принять его за собаку, или маленькій брошенный узелъ. Вѣроятно, я прошелъ бы мимо него, какъ проходили всѣ, если бы въ эту минуту онъ не передвинулся и не вытянулъ маленькую, тонкую ногу въ большомъ разношенномъ башмакѣ.

Тогда я сдѣлалъ шагъ къ нему и увидѣлъ это бѣлое съ синевою лицо и большіе глаза на немъ. Его руки были засунуты въ рукава, воротъ поднятъ. Онъ ежился отъ холода и, казалось, хотѣлъ бы уйти съ головою въ свое плохенькое пальто.

— Что ты здѣсь дѣлаешь? Отчего ты не идешь домой? Онъ испуганно прижался въ уголъ.

— Я боюсь...

— Что за вздоръ? Не здѣсь же ночевать! Чего ты боишься?

— Отецъ изобьетъ... какъ собаку!.. Я потерялъ деньги.

IV.

За спиной я уже чувствовалъ людей. Какой-то человѣкъ купеческой складки стоялъ рядомъ со мной. Остановилась какая-то молодая женщина въ большой модной шляпѣ.

— Большія деньги?

— Полтинникъ. Отецъ изобьетъ, какъ собаку. Нельзя итти...

Я оглянулся, точно ища подсказа. Купецъ, нагнувшись, всмотрѣлся въ мальчика и веселымъ, разбитнымъ голосомъ сказалъ:

— Дайте, дайте ему! На что, скажите на милость, народъ пускается! Самъ же отецъ послалъ, самъ и пропьетъ. Городовому бы его!..

— Онъ ничего не сдѣлалъ, за что бы его къ городовому. Ваша воля дать или пройти мимо...

Энергично и рѣзко это говорилъ высокій грудной голосъ. Я скользнулъ глазомъ по этой женской фигурѣ и почувствовалъ только, что эта женщина молода и красива.

— Гдѣ же ты живешь?

— Тамъ... На Екатерининскомъ каналѣ.—Онъ махнулъ тоненькой рукой по направленію къ Казанскому собору.

Я нашелъ въ карманѣ полтинникъ и протянулъ ему. Онъ вскочилъ мгновенно, но радость не отразилась на его лицѣ. Какая-то неподвижность была въ немъ, точно окаменѣлость. Совсѣмъ неожиданно, прежде чѣмъ я успѣлъ отнять руку, я почувствовалъ, какъ сухія, горячія губы мальчика коснулись ея. Какъ комочекъ, онъ вдругъ покатился прямо на проспектъ, — казалось, прямо подъ лошадей, подъ автомобили.

— Баловство! — съ рѣзкимъ неодобреніемъ и уже другимъ, строгимъ голосомъ сказалъ купецъ.—Комедія!..

V.

— Лучше передать сытому, чѣмъ недодать голодному.

Это говорилъ тотъ же высокій грудной голосъ, но въ немъ уже были ласковыя и добрыя ноты. Силуэтъ купца растаялъ въ толпѣ, и эти слова были явно обращены ко мнѣ. Молодая дама, съ южнаго типа лицомъ, высокая, съ моднымъ сакомъ на лентѣ, шла почти рядомъ со мной. Уже я видѣлъ прекрасные, глубокіе глаза и рѣзко брошенную трагическую бровь. Неужели она изъ тѣхъ, что заговариваютъ съ прохожими на Невскомъ! Какъ нелѣпо, какъ невѣроятно! Но одна здѣсь, въ эти часы!..

— Кто его знаетъ, — сказалъ я,—можетъ быть, этотъ купецъ правѣе насъ. Это какъ-будто дѣйствительно заученное, — «изобьетъ какъ собаку». Можетъ быть, и это наказано—«потомъ поцѣлуй ручку». Но если онъ актеръ, все равно онъ несчастенъ.

Дама шла совсѣмъ рядомъ. Разъ и два рукавъ бархатной изящной жакетки коснулся моего локтя.

— Можетъ быть, вамъ непріятно, что я пошла съ вами?

— О, пожалуйста.

Пошлякъ тотъ, кто думаетъ, что всякій разговоръ незнакомаго мужчины съ незнакомой женщиной ночью, на улицѣ—пошлость. Нѣкоторыя сердца раскрываются въ ночные часы, какъ цвѣты. Несчастье иногда кладетъ печать на уста, иногда заставляетъ искать утѣшенія у перваго встрѣчнаго.

Мы шли нѣсколько минутъ, продолжая разговоръ о мальчуганѣ.

— А я была въ маскарадѣ... Вонъ тамъ, — сказала она, кивнувъ по направленію одного зала собранія.—Какъ пьяно, какъ пошло, какъ душно! Мнѣ стало нестерпимо. Я обошла залы и бѣжала...

Она повертѣла чѣмъ-то около пальца. Это была маленькая черная масочка... Она не лгала.

VI.

— Вы не проиграли, — сказалъ я. — Посмотрите, маскарадъ продолжается. Вонъ какой маленькій, паршивенькій гимназистъ, но какъ онъ хочетъ казаться большимъ, наглымъ и сильнымъ. А вонъ это «погибшее, но милое созданье». Можетъ быть, она создана «для жизни мирной, для деревенской тишины», но въ десять часовъ она должна была нарумянить свои щеки, выпить для храбрости коньяку, и вотъ она гуляетъ по проспекту. А этотъ старикъ въ бобровомъ воротникѣ, — можетъ быть, у него внучата, и онъ церковный ктиторъ, но посмотрите, какъ онъ плотоядно выжидаетъ вонъ ту шляпку. Развѣ не маскарадъ?

— Вы философъ?

— Нѣтъ, я просто сторонній наблюдатель. На философію нѣтъ пошлины. А это интересно и, если хотите, это меня кормитъ...

— Вы пишете?

— Немножко.

— Скажите,—оживленно подхватила она,—почему мужчина взялъ себѣ привилегію разсказывать о жизни? Почему, напримѣръ, мужчина никогда не дастъ, ну, хотя бы проституткѣ, разсказать о себѣ самой? Вѣдь это не мужское дѣло. Вѣдь никто никогда не былъ въ ея душѣ!..

— Мужчина давно и страстно ждетъ этого—отвѣтилъ я.— Но проходятъ вѣка, и женщина медлитъ и медлитъ. Міръ еще ни разу не видѣлъ среди писателей женщины, которая поднялась бы съ страшныхъ низовъ жизни и разсказала бы, какъ тамъ погибаютъ. «Такой» женщинѣ или не до того, или это ей не по силамъ. Пишетъ самодовольная, сытая, обезпеченная женщина и описываетъ модные туалеты и какъ кузенъ флиртовалъ съ кузиной, и что ѣли за обѣдомъ...

— Такъ вы думаете, что передъ «такой» женщиной редакціи не захлопнули бы двери?

— О, напротивъ!

— У меня есть одна такая... знакомая. Я знаю, она пишетъ. Какъ она была бы счастлива! Какъ она была бы безумно счастлива! О, даже не за себя, а за всѣхъ такихъ, какъ она...

VII.

Ея глаза блестѣли. Была ясна игра нервовъ на тонкомъ, нѣжномъ лицѣ. Я думалъ, неужели она говоритъ о себѣ? Неужели она изъ такихъ! Но она говорила съ тѣмъ жаромъ, съ какимъ говорятъ о давней завѣтной мечтѣ, еще сейчасъ казавшейся неосуществимой. Она не хотѣла отойти отъ этой темы. Такъ мы дошли до конца Невскаго и повернули обратно.—«Вамъ нужно итти домой?»—Мнѣ ничего не нужно, — сказалъ я.—«Тогда пройдемте еще. Я жду одного человѣка».

Она всматривалась въ проѣзжающіе близко къ тротуару экипажи. Я замѣтилъ, что она всматривалась давно. Мы не сдѣлали и сотни шаговъ, она внезапно остановилась и повернулась лицомъ къ подъѣзжающему прекрасному рысаку. Молодая, маленькая дама въ ярко красной, бархатной ротондѣ сидѣла въ экипажѣ. Она крикнула оттуда моей спутницѣ:

— Мэри!

Мэри сдѣлала къ ней движеніе. Дѣвушка или дама въ красной ротондѣ выпрыгнула изъ экипажа. Я не слушалъ и не слышалъ ихъ разговора. Черезъ минуту красная ротонда скрылась въ освѣщенномъ подъѣздѣ. Тутъ былъ расторанъ, были и частныя квартиры. Нечего нельзя было понять.

Мэри вернулась ко мнѣ.

— Если вамъ угодно, я могу довезти васъ до дома, а если не хотите домой, то просто такъ... Такая хорошая ночь. И я неможко устала...

Я сѣлъ съ нею. Сѣрый въ яблокахъ рысакъ выбѣжалъ на набережную Невы. Сонъ окутывалъ столицу. Темные, печальные глаза повертывались ко мнѣ и глядѣли въ мое лицо, точно запоминая его. Я смотрѣлъ въ нихъ и вспоминалъ другіе глаза, такіе же глубокіе и такіе же грустные, и теперь такіе далекіе!..

VIII.

Уѣзжалъ хозяинъ одного журнальнаго дѣла и, уѣзжая, оставилъ его на меня. Въ опредѣленные дни я заходилъ въ редакцію, принималъ посѣтителей, просматривалъ корректуры, подписывалъ листы къ печати. Шла зима.

Новые люди, новыя встрѣчи вытѣсняли недавнія впечатлѣнія. Рѣдко и случайно я вспоминалъ о своемъ ночномъ знакомствѣ. Я уже не сомнѣвался въ томъ, кто была эта, недавно мною встрѣченная, женщина. Проѣзжая въ ту ночь мимо Эрнеста, она попросила позволенія задержать лошадь и сойти. —«Меня здѣсь ждутъ. Я только скажу швейцару, что не буду...» «Порядочная» женщина не пріѣзжаетъ одна ночью въ ресторанъ.

Однажды мнѣ передали рукопись небольшого разсказа. Секретарь пояснилъ,—«Была очень красивая дама. Просила передать вамъ. Я обѣщалъ ей написать». Подъ разсказомъ стояла фамилія—М. Брантъ. Это имя мнѣ ничего не говорило.

Я началъ разсказъ съ равнодушіемъ профессіонала и кончилъ съ волненіемъ. Это была удивительно правдивая исторія. Гдѣ-то кутила компанія такъ называемыхъ порядочныхъ людей. Двѣ дамы, трое военныхъ. Дамамъ пришла капризная мысль посмотрѣть одно изъ тѣхъ заведеній, какихъ никогда не видятъ порядочныя дамы. Онѣ умоляли мужчинъ доставить имъ это удовольствіе. Мужчины возражали до послѣдней возможности. Но они не могли отказать своимъ знакомымъ. Тутъ же по дорогѣ дамы заѣхали переодѣться въ юнкерскій и офицерскій костюмы.

Сцена переносилась въ богатый столичный вертепъ. «Порядочныя дамы» оказались въ обществѣ трехъ «непорядочныхъ». Дѣвицы, конечно, съ первыхъ минутъ разгадали секретъ безусыхъ молоденькихъ офицеровъ, не раскрывавшихъ рта. Кровь бросилась имъ въ голову отъ ненависти къ этимъ сытымъ и счастливымъ любительницамъ сильныхъ ощущеній. И онѣ кончили вечеръ колоссальнымъ скандаломъ...

Это было разсказано смѣло, но великолѣпно. Жилъ домъ продажнаго веселья подъ перомъ разсказчика. Талантъ мучительный, издѣвательскій, но настоящій талантъ былъ у него. Какъ онъ прекрасно понялъ оскорбленіе дѣвушекъ, которымъ общество отказало въ самомъ правѣ оскорбляться! И по тому, какъ это было написано, для сколько-нибудь опытнаго человѣка было ясно, что это описывалъ тотъ, кто самъ это видѣлъ, а, можетъ быть, и прочувствовалъ.

IX.

Я даже не зналъ, кто этотъ Брантъ — мужчина или женщина. При рукописи не было письма. Половину мужскихъ рукописей приносятъ въ редакціи женщины. Я извѣстилъ «многоуважаемаго коллегу», что у него безспорный талантъ, что разсказъ превосходенъ, что онъ пойдетъ очень скоро, и просилъ зайти для новыхъ соглашеній въ редакцію.

На другой день почта принесла мнѣ маленькое, узенькое письмо. Брантъ была женщина. Она выражала безграничную радость по поводу признанія ея опыта. Это былъ первый опытъ. Выраженія были такъ несдержанны, что письмо казалось типичнымъ письмомъ истерички. Какъ о какой-то милости она умоляла—принять ее дома, а не въ редакціи.

Въ назначенный вечеръ я увидѣлъ г-жу Брантъ. Я узналъ съ перваго мгновенія эти дерзко брошенныя брови, печальные глаза, даже эту бархатную жакетку, хотя она и была уже не по сезону. Я рѣшилъ не намекать ей ни однимъ словомъ на нашу встрѣчу, если она не начнетъ первая.

Она начала съ нея. Становилось ясно, что это была искренняя, честная натура, которой противна ложь. Я былъ радъ и сказалъ ей это. Она горячо и сильно пожала мою руку. Молодая женщина была полна счастьемъ, и какой-то свѣтъ временами вспыхивалъ въ ея глазахъ.

— Мнѣ уже присылали корректуру, и я успѣла получить по ней гонораръ. Никогда я не была такъ рада сотнямъ, какъ рада этимъ пятидесяти рублямъ. Такъ талантъ? Неужели талантъ?.. О, вамъ я вѣрю!

X.

Она сіяла, смѣялась. Маленькія ручки, схватившія какой-то карандашъ съ моего стола и игравшія имъ, дрожали отъ волненія.

— Не спрашивайте ничего обо мнѣ. Можетъ быть, когда-нибудь я сама разскажу вамъ все. У насъ, женщинъ, есть иногда непреодолимая потребность исповѣдаться. Въ нашемъ сердцѣ Везувій, и вдругъ лава прорвется и хлынетъ на чужую душу. Помните тотъ день (она поправилась), ту ночь. Вы кинули тогда двѣ подачки,—тому нищему и мнѣ. И у насъ обоихъ все такъ спутано, сложно, неясно...

Такъ она говорила, торопясь, нервничая, перебивая себя. Точно какъ-то неумѣло она взяла стаканъ, когда я предложилъ ей чаю. Она такъ и проболтала ложечкой все время и ушла, кажется, не сдѣлавъ глотка.

Была какая-то странная въ ней неловкость и смущеніе, точно она считала себя безконечно ниже всего кругомъ, не только меня, но и моей горничной. И это было невѣроятно и страшно, ибо все говорило за то, что она—«погибшая».

Она говорила безъ умолку, какъ человѣкъ молчавшій нѣсколько дней и жадно торопящійся наговориться. О чемъ? О новой жизни, о радости жить, о восторгѣ писательства. Черезъ фразу она перебивала себя какими-то оговорками,

что, вѣроятно, мнѣ странно ея волненіе, что я «все пойму потомъ», только «не надо спрашивать». Широко раскрывъ прекрасные глаза, она ловила каждое мое слово объ ея разсказѣ, точно слова были изъ чистаго золота. Ея щеки горѣли, брови нервно играли, то высоко взлетая, то строго хмурясь.

Въ этотъ вечеръ я видѣлъ человѣка, воскресшаго изъ мертвыхъ. Я чувствовалъ эту великую и прекрасную тайну и былъ счастливъ, что прикосновененъ къ ней. Уже уходя, въ прихожей, она лепетала, что-то счастливое, свѣтлое.

— Все, все устроится... И вы узнаете меня. И мы, можетъ быть, современемъ немножко подружимся...

— Я этого очень хочу!—сказалъ я серьезно и искренно.

Что-то метнулось въ ея глазахъ, и точно слезы увлажнили ихъ. Она быстро отвернулась и повышенно громко сказала:

— До свиданія!

XI.

Издатель вернулся и на Рождество дѣлалъ елку,—прямо на снѣгу въ своей подгородней дачѣ.

Вмѣсто ваты на вѣтвяхъ лежалъ настоящій искристый снѣгъ. Шипѣли и гасли свѣчи подъ падавшими снѣжинками. Яблоки на вѣтвяхъ были холодны, какъ ледъ. Мужчины вышли въ шубахъ, дамы въ ротондахъ, барышни въ теплыхъ капорахъ. Но праздникъ удался на славу, и шампанское тутъ же на снѣгу замерзло чудесно...

Темной ночью я уѣзжалъ на поѣздъ.

Издатель на минуту задержалъ меня ради послѣпраздничнаго номера:

— И вотъ кстати,—сказалъ онъ, отправляя руку въ карманъ.—По поводу «Милыхъ забавниковъ». Вы помните разсказъ въ прошломъ номерѣ?

— Прекрасный разсказъ!

— Прекрасный разсказъ—не спорю. Но вотъ два письма.

И одно—совсѣмъ неожиданное. Вы, вѣроятно, не знаете автора? Взгляните и верните мнѣ...

Въ вагонѣ я посмотрѣлъ письмо. Кто-то разухабистымъ, наглымъ языкомъ поздравлялъ журналъ съ сотрудничествомъ столь почтеннаго автора, какъ Манька Пушинка. Онъ находилъ въ разсказѣ «Милые забавники» дѣйствительно рѣдкостное знаніе быта и нравовъ пансіоновъ для дѣвицъ безъ древнихъ языковъ, но говорилъ, что это—едва ли честь журналу. И совѣтовалъ впредь, по крайней мѣрѣ, придумать для М. Брантъ хотя бы какой-нибудь псевдонимъ въ качествѣ фиговаго листка.

Письмо было анонимное, почеркъ опредѣленно мужской, молодой, нахально-размашистый. Мнѣ стало досадно, что моего патрона уже не было со мной. А если бы онъ узналъ, что Гомеръ былъ нищій, и Казанова—авантюристъ и обманщикъ,—отказался ли бы онъ напечатать «Иліаду» и «Мемуары»?

Досаднѣе всего было то, что—я зналъ—въ редакціи уже лежала другая рукопись того-же скомпрометированнаго писателя. Мнѣ стало жутко при мысли, что рукопись вернутъ, не читая. Я уже отошелъ отъ редакторства, — меня могли не спросить.

Все это было такъ грустно. И въ громыханіи ночного поѣзда, и въ тьмѣ, окутавшей окна, было что-то зловѣщее и жуткое...

Я вернулъ анонимное письмо съ своимъ письмомъ въ защиту автора. Но, когда черезъ нѣсколько дней зашелъ въ редакцію,—все уже было потеряно.

Рукопись вернули, не читая. Къ ней приложили анонимное письмо и десятокъ писемъ, пришедшихъ на имя автора,—брань и хвалы.

XII.

Если бы я сочинялъ, я разсказалъ бы о томъ, какъ черезъ много лѣтъ въ низкопробномъ шантанѣ или увесе-

лительномъ саду я встрѣтилъ Мэри Брантъ, —«Маньку Пушинку», опустившуюся, пьяную, падшую. Я не сочиняю. Мэри Брантъ я больше не видѣлъ никогда. Но вѣсть о ней получилъ.

Это было вскорѣ послѣ возвращенія ей второго разсказа. Маленькое письмо въ знакомомъ конвертѣ я сразу поймалъ въ десяткѣ писемъ. Я угадалъ—писала она. Письмо было сдержанно, почти офиціально въ началѣ, взволнованно и тепло въ концѣ.

— «Я должна передъ вами извиниться,—писала Мэри.— По всему видно, что я доставила вамъ непріятность. Простите, Бога ради. Если бы я знала, я не сдѣлала бы этого.

«Мнѣ приснился свѣтлый сонъ, и я ему наивно повѣрила. О, вѣрьте, что я наказана за это такъ жестоко, какъ только можно. Я твержу себѣ: «Жалкая, глупая! Чему ты повѣрила! Мертвые не воскресаютъ».

«А мнѣ мерещилась чудесная, волшебная жизнь,—жизнь, какъ сказка! Какъ безразсудно мечтала я тогда, когда я ушла отъ васъ! Всю ночь я одна проѣздила по городу. Мой мозгъ горѣлъ. О снѣ было смѣшно думать.

«Цѣлую руки ваши, какъ тотъ нищенка, тамъ, у каменнаго храма... Вы дали мнѣ нѣсколько дней такого большого счастья, какого я не испытала никогда,—счастья вѣры въ себя, ощущенія таланта, надеждъ на спасеніе изъ проклятаго омута, гдѣ я прозябаю, исковерканная, израненная...

«Заклинаю васъ всѣмъ, что есть у васъ святого,—не ищите меня, не пишите мнѣ, не считайте своимъ долгомъ ободрить меня. Какая я писательница! Я написала второй разсказъ, и—онъ оказался о падшей женщинѣ. И такимъ былъ бы третій, и такимъ былъ бы и четвертый! Я знаю только э т о и ничего больше. Я видѣла жизнь только въ отдѣльныхъ кабинетахъ. Я изучала только психологію пьяныхъ развратниковъ и продающихся рабынь.

«Вы умный человѣкъ, вы взрослый человѣкъ, вы гуманный человѣкъ. Вы должны понимать, что изъ этого ничего бы не вышло... Это былъ сонъ, которому можно было по-

вѣрить, пока онъ длился. Онъ прошелъ, какъ миражъ, какъ головная боль, какъ туманъ надъ болотомъ—отъ него не осталось ничего. Не старайтесь поднять меня. Всего ужаснѣе было бы то, если бы вамъ удалось еще разъ заставить меня повѣрить невѣроятному. Безчеловѣчно поднимать человѣка на Монбланъ, чтобы больнѣе сбросить его оттуда. Если даже вы встрѣтите меня,—пройдите мимо. Пусть это будетъ моя—«послѣдняя воля»...

Я не исполнилъ ея послѣдней воли.—Но мои попытки не привели ни къ чему. Мэри Брантъ выѣхала съ прежней квартиры, оставивъ такой фантастическій адресъ, что искать ее по нему было просто смѣшно...

ЮМОРИСТЪ.

I.

Архіерей сидѣлъ на балконѣ своего дома, выходившаго въ огромный, неуютный семинарскій садъ, въ подрясникѣ и скуфьѣ, похожій скорѣе на простого, растолстѣвшаго послушника, и смотрѣлъ на темныя деревья.

Было начало іюня. Незамѣтно переливался вечеръ въ ночь. Темнѣло. За заборомъ, по берегу рѣчки, гулко прогромыхала телѣга. Что-то дико выкрикнулъ, вѣроятно, обругался, ломовой.

Стало опять тихо, и вдругъ откуда-то издалека, вѣроятно, изъ за угла сада, чей-то молодой, пріятно басистый голосъ запѣлъ:

— Вся кіевская бурса, возьми любого курса,
Пьетъ водку безъ рессурса, положительно.
Въ трактирчикѣ знакомомъ келарій съ экономомъ
Чаекъ вкушаетъ съ ромомъ, прохладительно.
Большой любитель влаги, отецъ ключарь Пелагій
По цѣлой пьетъ баклагѣ, удивительно.
А я, какъ ни стараюсь, но съ нимъ не состязаюсь.
Отъ четверти валяюсь—положительно...

Парфеній самъ учился въ южной семинаріи и когда-то зналъ эту пѣсню, — знаменитую «Наливочку». Она была не очень пристойна, немножко груба, чуть-чуть, пожалуй, кощунственна. Типично бурсацкая пѣсня, старая-старая, сложившаяся, вѣроятно, въ 20-хъ, 30-хъ годахъ.

Но теперь чѣмъ-то далекимъ, забытымъ, невозврат-

нымъ и потому трогательнымъ повѣяло на него отъ этой пѣсни. Конечно, не отъ словъ, а отъ того, что сплелось съ этимъ мотивомъ, наслоилось на грубые слова, странно связалось съ дѣтствомъ, молодостью, бурсой, семинаріей, академіей, со старыми людьми, которыхъ онъ зналъ, съ дьячками и дьяконами своей старой Поповки, гдѣ онъ игралъ младенцемъ.

И не хотѣлось уходить съ балкона, запирать дверь, чтобы не упустить этихъ звуковъ. Хотѣлось оглянуться назадъ и задуматься, — а это случалось теперь съ нимъ все чаще и чаще,—о томъ, какъ все это вышло, какъ изъ протоіерея Павла Ключарева сталъ онъ, теперешній викарій Парфеній,—тотъ же и не тотъ.

II.

Въ небольшомъ запущенномъ городѣ Пустошинѣ былъ протопопъ.

Право, трудно сказать, мечталъ ли онъ когда-нибудь такъ опредѣленно о своей карьерѣ, чинахъ, звѣздахъ, власти. Давно умерла попадья. Дѣтей не было.

Бывали дни, самъ о. Павелъ въ худенькой рясѣ ходилъ на базаръ, протискивался между торговками, приподымалъ шляпу, отвѣчая на поклоны горожанъ. Смѣшно вспомнить, но иногда онъ самъ торговалъ курицу, потому что жалко было «такую упустить», и самъ несъ ее домой, черезъ меленькую площадь, засоренную мелкими остатками сѣна. Да! только завернетъ въ бумагу, чтобы не было видно, что курица, и несетъ домой.

Строили въ городѣ храмъ. Проѣзжалъ черезъ городъ товарищъ оберъ-прокурора. О. Павелъ давалъ ему отчетъ по храму. Неожиданно для себя онъ какъ-то особенно понравился высокому сановнику. Простой, прямой, умный, дѣльный.

Товарищъ оберъ-прокурора предложилъ ему побесѣдо-

вать откровенно по одному дѣлу. Вечеромъ, въ номерѣ гостиницы, сановникъ долго говорилъ объ оскудѣніи настоящихъ людей и прямо сознался, что у него есть порученіе «присматривать» людей, достойныхъ архіерейства. И очень политично, очень осторожно церковный генералъ далъ понять Ключареву, что его дѣло было бы вѣрное.

Въ первую минуту о. Павелъ радостно засмѣялся. Это казалось ему несообразностью. «Подумайте и посовѣтуйтесь!»— многозначительно сказалъ пріѣзжій.

Ночью протопопъ сталъ думать и не заснулъ до утра. Ему тоже было свойственно честолюбіе? Можетъ быть. И, наконецъ, не онъ искалъ, а его искали.

Тѣхъ страшныхъ трудностей архіерейства, какія онъ созналъ потомъ и которыя отуманили вечеръ его жизни, онъ тогда не видѣлъ. Все заволокъ какой-то пьянящій радужный туманъ.

— «Вы мнѣ напишите частнымъ письмомъ, если надумаете»,—сказалъ, уѣзжая, товарищъ оберъ-прокурора.

Протопопъ еще думалъ, колебался, совсѣмъ уже рѣшилъ отказаться, но черезъ двѣ недѣли послалъ въ Петербургъ заказное письмо... съ согласіемъ.

Изъ собратій-владыкъ — много ихъ повидалъ онъ за десять лѣтъ! — иные возвышались, выдѣлялись, гремѣли. Одни славились проповѣдями, другіе издавали книги, третьи играли въ политику. Онъ былъ изъ стариковъ, угомонившійся, почти конченный.

Кажется, уже въ тотъ день, когда онъ въ первый разъ надѣлъ фіолетовую мантію, всѣмъ кромѣ него, было ясно, что онъ призванъ не для того, чтобы дѣлать погоду.

Уже тринадцать лѣтъ онъ сидѣлъ въ викаріяхъ. И ни разу ему не давали отвѣтственныхъ командировокъ. И ни разу его не вызвали въ столицу. Вызывали тѣхъ, къ кому «присматривались», кого «намѣчали». Къ нему не нужно было присматриваться. Его не намѣчали никуда.

Другой на мѣстѣ Парфенія пожалѣлъ бы, что, въ сущности, его вовлекли въ невыгодную сдѣлку. Имъ нужно

было просто заткнуть свободную вакансію викарія. Но онъ не былъ тщеславенъ. Ему хотѣлось бы только покоя для своей старости. И, къ сожалѣнію, этого не было.

III.

Человѣкъ никогда не бываетъ доволенъ тѣмъ, что у него есть. И теперь Парфеній, какъ о чемъ-то свѣтломъ, прекрасномъ, утраченномъ, думалъ о томъ времени, когда онъ, спокойный, добродушный, съ большимъ запасомъ свободнаго времени, ходилъ по пустошинскому базару, самъ закупалъ вишню для наливокъ и икру для гостей.

Изрѣдка теперь, со своего балкона, онъ видѣлъ учителей семинаріи, не торопясь возвращающихся изъ гостинаго двора съ покупками, — видѣлъ и завидовалъ. И никогда въ отдаленныхъ мысляхъ своихъ онъ не думалъ о тѣхъ тяготахъ, какія его встрѣтили въ епископствѣ.

День начинался просителями и ими кончался. Они лѣзли съ самаго утра, стараясь захватить его до выѣзда, поджидали его на лѣстницѣ, поздно вечеромъ, чтобъ застать его прежде, чѣмъ онъ ляжетъ спать, суетились, жужжали, и его служка, слегка припадающій на одну ногу Игнатій, отгонялъ ихъ отъ него, какъ надоѣдливыхъ мухъ.

Каждый день были выѣзды и служенія, длинныя и утомительныя, никогда не меньше трехъ часовъ, то въ городъ, то въ пригородъ на какое-нибудь освященіе, посвященіе, постриженіе, на похороны, въ учебныя заведенія, на акты, на съѣзды, на молебны.

Выѣзжать приходилось почти всегда натощакъ, и послѣ обѣдни невозможно было удержаться, чтобы не съѣсть просвиры. И такъ изо дня въ день приходилось голодать и портить обѣдъ. Потный, въ тяжеломъ саккосѣ, онъ стоялъ на помостѣ, убранномъ краснымъ сукномъ, и съ ужасомъ чувствовалъ сквознякъ, идущій черезъ царскія двери.

Самостоятельный архіерей былъ моложе его, но величе-

ственнѣе, красивѣе, властнѣе. Передъ нимъ была карьера, и никому ни въ Петербургѣ, ни здѣсь не казалось страннымъ, что младшій былъ выше старшаго по чинамъ, чаще получалъ ордена, стоялъ первымъ на богослуженіи и къ нему впередъ ѣздилъ губернаторъ.

Вся эта суета создавала нервность, и было ощущеніе, какое, вѣроятно, бываетъ у вѣчныхъ гастролеровъ, которые сегодня играютъ здѣсь, завтра тамъ, а послѣзавтра въ третьемъ мѣстѣ.

Всегда надо было быть здоровымъ, готовымъ, имѣть хорошее горло, беречь голову. А годы уже шли къ шестидесяти, и лѣтъ семь — восемь Парфенія мучилъ жестокій ревматизмъ. И то, что на него глазѣли въ церкви во всѣ глаза, что маленькій посошникъ Гераська ежеминутно цѣловалъ, точно клевалъ, его въ руку, что онъ стоялъ въ соборѣ не иначе, какъ на орлецахъ,—все это уже не несло радости, а только надоѣдало.

Каждый день приходили десятки пакетовъ изъ консисторіи, десятки журналовъ разныхъ церковныхъ комиссій, журналы семинаріи и епархіальнаго училища.

Консисторскія бумаги были какой-то выставкой человѣческихъ грѣховъ. Точно они существовали для того, чтобы показать, какъ люди мелки, развратны, завистливы и дрянны. Они были, какъ малыя дѣти, и надо было разнимать ихъ и разбирать ихъ ссоры. Въ десяткахъ прошеній голодные люди просили мѣста, и каждый разъ, когда кто-нибудь умиралъ, начиналась настоящая игра въ чехарду надъ его могилой изъ-за свободной вакансіи.

Бумаги по бракоразводному столу были полны такихъ гнусностей, что хотѣлось, мыть руки послѣ прикосновенія къ этимъ грудамъ исписанныхъ желтыхъ листовъ. Часть причтовъ жила въ явной крысиной враждѣ. Изъ-за какихъ-нибудь десяти рублей порченныхъ монетъ съ дырками и изъянами, накопившихся въ церковной кружкѣ, велась война по году и по два, и причтъ не могъ самъ разобраться въ ничтожномъ недоразумѣніи.

Разъ разгорѣлось цѣлое дѣло изъ-за того, что мужикъ по винѣ дьячка былъ прописанъ въ метрикахъ, двадцать лѣтъ назадъ, въ женской графѣ, и мужиченка измаялся, прежде чѣмъ ему удалось схлопотать разрѣшеніе на свадьбу. Къ одному прошенію былъ однажды припечатанъ клокъ волосъ, курчавыхъ и противныхъ, точно съ мертваго. Это одинъ дьячокъ жаловался на старосту, нанесшаго ему оскорбленіе дѣйствіемъ.

IV.

Все это надоѣдало днемъ и снилось ночью.

Снились тѣ же просители о мѣстѣ, о разводѣ, снилось, будто онъ стоитъ въ алтарѣ, и ему даютъ не то облаченіе, или его продуваетъ сквознякомъ, и у него начинается воспаленіе легкихъ. Иногда сонъ возвращалъ къ молодости, къ семинаріи, къ старымъ учителямъ, къ знакомымъ по Пустошину. Но странная игра мозга!—и всѣ эти старые знакомые, точно сговорившись, просили о мѣстахъ, хотѣли перевестись въ его епархію, искали рекомендательныхъ писемъ или денегъ въ долгъ.

Иногда хотѣлось дружественнаго общенія близкихъ людей, родственныхъ отношеній. Хотя бы одного человѣка, съ которымъ можно было бы говорить откровенно!

Но какъ-то сошла на-нѣтъ и родня. Старухѣ-теткѣ онъ посылалъ къ праздникамъ денегъ. Одно время вызывалъ къ себѣ дядю и племянника. Но пересталъ съ той поры, какъ однажды священникъ-дядя, конфузясь и мямля, сталъ просить у него за одного изъ извѣстныхъ дьяконовъ.

Парфеній сморщился и попросилъ разъ навсегда не принимать на себя никакихъ порученій. Дядя обидѣлся и съ тѣхъ поръ никогда не пріѣзжалъ, только къ Пасхѣ, къ Рождеству и именинамъ писалъ владыкѣ раболѣпно-почтительныя письма.

Какъ-то неизбѣжно случилось такъ, что единственно

близкими ему людьми стали секретарь Кедрикъ да одинъ городской благочинный, старикъ Дмитрусенко.

Кедрика въ уѣздѣ звали шутя «Кедрикомъ ливанскимъ». Парфеній зналъ о немъ пословицу — «малъ Кедрикъ, а не влѣзши на него, до Парфенія не достанешь». Онъ помнилъ въ дѣлахъ все, что Парфеній забывалъ сразу. Безъ него архіерей былъ бы какъ безъ рукъ. Вечерами, когда оставался свободный часокъ, Парфеній игралъ съ нимъ въ шахматы. Иногда Кедрикъ передавалъ ему содержаніе газеты, когда некогда было ее развернуть.

Дмитрусенко не былъ другомъ. Онъ былъ слишкомъ себѣ на умѣ, слишкомъ старъ, чтобы быть нѣжнымъ. И у архіерея не должно быть друзей. Но онъ былъ просто головой выше всего духовенства кругомъ. Немножко чудакъ, немножко циникъ, но умный циникъ.

Ему самому однажды предлагали монашескую карьеру. Дмитрусенко цинически отвѣтилъ, что любитъ мясо и не хочетъ съ нимъ разставаться. «Только поэтому?» — спросили его. Дмитрусенко не моргнулъ глазомъ. — «Только поэтому, ваше превосходительство!» Высокій сановникъ поджалъ губы.

V.

Къ одинокому густому голосу въ темномъ саду подсталъ другой, болѣе нѣжный, казавшійся еще моложе, и до слуха архіерея еще явственнѣе донеслось:

— Я въ причтахъ Соломона читалъ, что во дни оны
Жилъ пышно царь Сіона, расточительно.
И въ томъ же древнемъ мірѣ самъ царь Давидъ
въ Псалтири
Воспѣлъ вино на лирѣ умилительно.
Нашъ ректоръ семинарскій, въ веселый вечеръ
майскій,
Напитокъ пьетъ ямайскій, прохладительный...

Парфеній улыбнулся. Теперь пойдутъ перебирать весь

штатъ. Онъ ничего не помнилъ,—ни одного стиха, ни одного слова изъ пѣсни, но уже смутно возникло въ памяти, что вся пѣсня — длинный перечень всего семинарскаго начальства.

Въ другое время онъ вызвалъ бы служку Игнатія и велѣлъ бы позвать семинаристовъ къ себѣ на «проборку», но тихій вечеръ умягчалъ душу и ласкалъ нервы.

Семинаристы уже отпущены. Остается только послѣдній шестой классъ, у котораго экзамены кончатся черезъ двѣ недѣли. Все это уже взрослый народъ. Малыхъ они не соблазнятъ. Самимъ имъ соблазняться уже нечего.

А голоса пѣли:

Инспекторъ отче Павелъ, забывъ про бездну правилъ,
Въ шинокъ стопы направилъ нерачительно.
Профессоръ по-латыни со вторника донынѣ
Лежитъ съ похмѣлья въ тинѣ уморительно.
Нашъ строгій экзекуторъ и съ нимъ инфимы туторъ
Ушли съ горѣлкой въ хуторъ отдалительно.
Профессоръ синтаксимы у ректора въ крестины
Пѣлъ «Иже херувимы» препронзительно.
И грекъ предъ цѣлымъ классомъ, рыгая кислымъ квасомъ
Мычалъ «Достойну» басомъ оглушительно.

«Апоѳеозъ пьянства, апоѳеозъ пьянства!» — подумалъ Парфеній и осудительно покачалъ головой. — «А голосъ, въ особенности тенорокъ, хоть куда!..»

Вѣтеръ на минуту зашелестѣлъ въ вѣтвяхъ. Опять прогромыхала за каменнымъ заборомъ телѣга. Стихъ или два донеслись слабо, точно для того, чтобы оттѣнить то, что шло дальше:

Его преосвященство и съ нимъ все духовенство
Спилось до совершенства положительно.
Нашъ самъ святой владыка подчасъ не вяжетъ лыка
И такъ поетъ онъ дико удивительно.
И батя благочинный заходитъ въ шинокъ винный
И пьетъ на пяталтынный очистительной.

Парфеній рѣзко поднялся, машинально поправилъ волосы за ухомъ, вошелъ съ балкона въ комнату и громко черезъ залу крикнулъ келейнику:

— Закрой балконъ, Игнатій! Найдетъ сырости на ночь!..

VI.

Дмитрусенко, дѣлавшій объѣздъ по благочинію, принесъ архіерею докладъ, сидѣлъ у него и пилъ чай.

Съ дѣломъ давно уже кончили, и протопопъ просто дѣлился личными впечатлѣніями. Въ селѣ Недагода его застала гроза, и вмѣстѣ съ кой-кѣмъ изъ духовенства онъ ночевалъ у мѣстнаго священника и почти всю ночь не спалъ.

— Представьте, владыка, какой случай! Подъ самую ночь подъѣхалъ къ о. Благодатову знакомый дьяконъ. И такой, можете себѣ представить, разговорный да занятный, что просто сладу нѣтъ. Прямо бы ему, думаю, актеромъ въ театръ. И я—старикъ, и Благодатовъ—старикъ, а заслушались, какъ малыя дѣти сказки. До одиннадцати соловья баснями тѣшили; ну, говоримъ, теперь ляжемъ. Легли, помолились, онъ опять что-то началъ. И гдѣ только онъ все это слышалъ! И про архіереевъ, и про протодьяконовъ, и про нашу братію, и про разныхъ злополучныхъ «псалмовъ». Ну, думаемъ, ладно,—говори ужъ до двѣнадцати. Да такъ-то откладывали-откладывали по полчаса дальше, смотримъ,—три часа, ужъ и пѣтухи запѣли...

Парфеній былъ большой любитель бытового анекдота. Это было почти все, что ему осталось дозволеннаго отъ міра. Всегда, когда кто-нибудь наѣзжалъ въ его городъ съ родины, онъ не отпускалъ отъ себя пріѣзжаго прежде, чѣмъ подробно не выспрашивалъ его про дорогія мѣста. И сейчасъ Дмитрусенко уловилъ его желаніе послушать, торопливо допилъ чай, поуютнѣе усѣлся въ креслѣ и началъ:

— Дьяконъ, ваше преосвященство, изъ села Хвостакова, Вуколъ Филантроповъ. Захудаленькій такой, лицо зеленое,

локти лоснятся. Ужъ и не молодъ, только вертлявъ, что плотва. Заговорили мы про приходскія отношенія. Вотъ, говоритъ, если кто тутъ Іовъ многострадальный, такъ это я, хвостаковскій дьяконъ Вуколъ. Я, говоритъ, во дни оны съ своимъ батюшкой такъ сражался и такъ былъ сражаемъ, что твой филистимлянинъ! «А ну-ка, говоритъ ему о. Благодатовъ, разскажите». Ну, и разсказалъ.

VII.

— Я, говоритъ, пріѣхалъ въ село дьячкомъ, и батюшка, говоритъ, меня съ первой встрѣчи не взлюбилъ. Чаялъ онъ, что его племяша назначатъ, анъ, вышло меня. И пошли тутъ свары да ссоры. Просто, говоритъ, съѣлъ меня живьемъ. А я тогда былъ младъ-младешенекъ,—едва двадцать стукнуло. Особенно извелъ меня дальними требами. Верстъ, къ примѣру, за десять надо ѣхать. Прежде, бывало, у него всегда дьячокъ сидитъ на козлахъ, лошадью правитъ, а меня онъ позвалъ и говоритъ: «У меня, говоритъ, лошадь слабая, сама за оглобли держится. Едва меня одного довезетъ. А у тебя, говоритъ, ноги молодые, такъ ты выйди пѣшъ часомъ раньше и приходи въ деревню Сластену, къ мужику Пуду». Ладно. Противъ рожна не пойдешь.

Да и писанію, говоритъ, повиноваться надо. А въ псалмахъ сказано: «сіи на колесницахъ и сіи на конѣхъ, мы же имя Бога нашего призовемъ». На колесницахъ, говоритъ,—попове, на коняхъ, говоритъ,—дьякона, а мы, говоритъ, псалмы несчастные—пѣшедраломъ. И какъ, въ самомъ дѣлѣ, по жарѣ, али по холоду десять верстъ пропорешь, тутъ дѣйствительно разъ сорокъ имя Господа Бога призовешь...

Такимъ-то манеромъ, разсказываетъ, опоздалъ я однажды. Пришлось ему пождать меня. «Ахъ ты, говоритъ,—свинья гадаринская! Да я на тебя сейчасъ же благочинному жалобу напишу!» Началъ я послѣ того выходить часа за два. Идешь

это безъ конца, ирмосы мурлычишь отъ скуки,—тяжело! Какъ-то разъ вышелъ, говоритъ, иду, охаю, а у самого звѣрскій планъ. Захватилъ я съ собой ножъ и веревку, и какъ къ какому плетню подойду, такъ ворота закрою и завяжу ихъ веревочкой, узловъ въ шесть. Пропорю четверть версты, опять ворота, я опять—шесть узловъ. Такъ перевязалъ я всю дорогу, пока вся веревка не вышла. Совсѣмъ, говоритъ, какъ Наполеонъ Бонопартъ!

Ну-те-съ, прихожу въ деревню. Жду часъ, жду другой,—нѣтъ моего бати. Когда-то когда показалась его лошаденка! Слѣзаетъ онъ,—на всѣхъ звѣрей похожъ. «Что, говорю, о. Степанъ, такъ запоздали?»—«Такъ и такъ, говоритъ, прямо напасть какая-то! Всѣ плетни завязаны, а я ножа не взялъ. Всѣ пальцы обшаркалъ, пока развязалъ. Смотри, говоритъ, ужъ не ты ли, друже, подрадѣлъ»? — «Помилуйте, ваше преподобіе, я не той и дорогой-то шелъ. Я напрямики Соснянкой, а потомъ лѣскомъ пробѣжалъ. Часа ужъ два васъ поджидаю». Съ тѣхъ поръ, говоритъ, сталъ меня о. Степанъ съ собой за возницу брать. И самъ первый наказываетъ: «смотри, говоритъ, Вуколъ, ножа съ собой не забудь, чтобы у плетней не копаться».

— Юмористъ!—усмѣхнулся преосвященный.

— Вы дальше, владыко, послушайте.

VIII.

— Не доѣлъ, говоритъ, меня батя на этомъ, задумалъ дойти на другомъ. Какъ-то разъ минуты на три опоздалъ я къ заутренѣ. Сдѣлалъ онъ мнѣ строжайшую распеканцію.—«А еще, говоритъ, разъ опоздаешь,—по начальству донесу. Я, говоритъ, ужъ и бумагу приготовилъ, и чернильницу открылъ, и на перо поплевалъ». Лицо такое, что, вижу, впрямъ донесетъ, не пощадитъ. Старухѣ своей услужающей настрого приказалъ себя за часъ будить, но только, чтобы батю подразнить, нарочито дома сижу, пока не увижу, какъ

онъ изъ дома вышелъ. Тутъ я прямикомъ къ церкви и бѣгу, сломя голову, и тихимъ манеромъ—шасть за колонну. Стою, съ него глазъ не спускаю. А онъ это лобъ перекреститъ и сейчасъ глазами по клиросу шаритъ. «Ага, думаетъ,—нѣту!» Скорѣй эпитрахиль на шею, и, хоть минутъ пяти еще до срока не хватаетъ, даетъ возгласъ. Дескать, не дастъ дьячокъ отвѣта, самъ я за него «аминь» спою и псаломъ зачитаю. А я тутъ какъ тутъ, да изъ-за колонны-то какъ рявкну «аминь!»,—онъ даже вздрогнетъ отъ неожиданности. Послѣ службы въ алтарѣ говоритъ:—«А я,—говоритъ,—думалъ, что тебя нѣтъ. Откуда ты взялся, точно съ потолка свалился»?—«Какъ,—говорю,—о. Степанъ, не быть! Вы меня такъ благочиннымъ настращали, что я въ церковь-то раньше сторожа прихожу»...

— Паче же всего, владыко, допекъ онъ своего начальника тѣмъ, что разъ его рясу замкомъ заперъ. У батюшки, можете себѣ представить, двѣ было ряски: одна—парадная, другая—будничная, съ локтями протертыми. Какъ-то, говоритъ, зоветъ насъ одинъ помѣщикъ торжественный молебенъ служить, а послѣ къ нему позавтракать. Какъ разъ передъ этимъ я къ батѣ на минуту зашелъ. Вижу, парадная ряска разглажена и на столѣ лежитъ. Мальченка махонькій около нея возится, съ какимъ-то замочкомъ играется. Отвернулся малецъ, я—хлопъ, продѣлъ замокъ сквозь петлички ворота, пружинкой щелкъ, а ключикъ-то въ карманъ. На-ко, думаю, пощеголяй въ парадной рясѣ, когда ея воротъ застегнутъ! А воротъ такой, что дѣтская голова едва пролѣзетъ.

— Ну, вотъ, говоритъ, пришелъ къ помѣщику, все, что нужно принесъ,—ризы, книгу молебныхъ пѣній, блюдо, кропило. Самъ думаю, — какъ-то онъ мою архимедову задачу рѣшитъ. Замокъ сломаетъ, или петлю разорветъ? Да нѣтъ, думаю, — жаденъ. Что-жъ, говоритъ, дѣйствительно вижу, о. Степанъ въ старенькой ряскѣ претъ, ежится, жмется. Едва завтракъ просидѣлъ. А какъ назадъ пошли, говоритъ:

«Эку со мной, говоритъ, шутку Гришка сшутилъ. (На сынишку своего, представьте, свалилъ). Рясу заперъ!

— «Куда же, говорю, о. Степанъ, въ шкафъ, говорю, али въ комодъ?»... Морду этакую невинную строю.—«Представь, говоритъ, и не въ шкафъ, и не въ комодъ, а надѣть нельзя! Вотъ такъ загадка!»—«Никакъ, говорю, ваше преподобіе, не пойму. Глупъ, что-ли!»—«Да и никто, говоритъ, не пойметъ. На воротѣ-то, говоритъ, съ каждой стороны пуговка и петличка, пуговка и петличка. Онъ въ петличку и продѣнь замочекъ, а ключъ, — шутъ его знаетъ, куда дѣлъ. Малъ мальчишка, — пятый годъ. Что съ нимъ сдѣлаешь? Не бить же! И вотъ какимъ мужикомъ, говоритъ, я на пиръ пришелъ, въ затрепезномъ одѣяніи, локоть булавками забралъ. — Лоснитъ, спрашиваетъ, спина»? — Лоснитъ, отвѣчаю.—«И видъ очень захудалый»?—«Захудалый, говорю, о. Степанъ!»

Черезъ нѣкоторое время заносилъ я къ нему метрики и незамѣтно ключикъ въ пепельницу бросилъ, — казачекъ этакій чугунный, отдыхаетъ съ трубкой. Онъ мнѣ послѣ радуется: — «Представь, говоритъ, ключикъ-то отыскался. Гришутка-то, говоритъ, сволочь, его въ пепельницу бросилъ! А я ужъ, говоритъ, обѣ петельки распоролъ, новую ряску испортилъ!»

IX.

— Юмористъ-то онъ юмористъ, — сказалъ Парфеній,— однако, его юморъ что-то все въ одну сторону. Кажется, злой и дрянной человѣкъ.

— Не, скажу владыка! По личному впечатлѣнію—скорѣй жалокъ. Да и больно ужъ онъ, говоритъ, отъ своего начальства натерпѣлся. Такъ-то, говоритъ, и умеръ, не простивши, что онъ его племяннику дорогу перебѣжалъ. Только онъ своимъ юморомъ и на свою голову играетъ.

Извольте видѣть, былъ у него по семинаріи товарищъ.

Въ доктора вышелъ. И ничего, изрядный докторъ. Въ своемъ городкѣ его очень уважали. И практика у него была изрядная. «Случилось мнѣ, разсказываетъ, быть въ его городѣ. (А Филантроповъ-то ужъ тогда дьякономъ былъ).«Семъ-ка, говоритъ, я у доктора путемъ пощупаюсь,—печень у него болѣла, — и, кстати, стараго товарища, котораго лѣтъ десять не видѣлъ, повидаю.

Прихожу, говоритъ. Пріемная этакая пышная. Видно, что богато живетъ — не мнѣ чета. И народу человѣкъ восемь сидятъ,—все мужчины, и все порядочные. Книжки на столахъ въ золоченыхъ переплетахъ. Сѣлъ я, говоритъ, картинками занялся, сталъ въ «Нивѣ» архіереевъ пріискивать. Только подходитъ ко мнѣ услужающій и шепчетъ: «Можетъ, говоритъ, о васъ, батюшка, прикажете особо доложить? Баринъ, говоритъ, васъ, навѣрное, не откажетъ особо принять».—«Нѣтъ, говорю, ничего. Я обѣдалъ. Люди ждутъ, и я обожду». Этакъ черезъ полчаса опять онъ ко мнѣ съ шепотомъ: «А, все-таки, можетъ быть, доложить?».—«Да зачѣмъ же?»—«Ну, вамъ, всячески, говоритъ, неловко!»—«Чего, говорю, неловко? Дѣло житейское. Всѣ—люди, всѣ — человѣки...»

Переждалъ всѣхъ, вхожу въ кабинетъ, — онъ самый, Васька Смѣлковъ. «Узнаешь меня, говорю, фараонъ египетскій?» (Мы его въ семинаріи фараономъ звали, потому носъ у него этакій прямо изо лба). Лѣзу, говоритъ, къ нему съ объятіями и поцѣлуями, а онъ отъ меня, какъ зачумленный, въ сторону. «Чего ты, говорю, аль не узналъ?»—«Какъ, говоритъ, не узнать? Люблю тебя и помню, только ты, вѣрно, о двухъ головахъ. Я своему паціенту и руки не подаю, а ты—цѣловаться. Ну, сказывай, что тебѣ Богъ послалъ?»—«Печень, говорю».—«И ты, говоритъ, тамъ сидѣлъ?» — «Сидѣлъ». — «И долго?» — «Часа полтора!» — «А ты, спрашиваетъ, милая провинція, не знаешь, какая моя спеціальность?»—и ну, хохотать.

«Тутъ, говоритъ, оно и мнѣ вступило. Даже въ краску ударило. Докторъ-то, значитъ, былъ по такимъ болѣзнямъ,

владыко. «Ну, говоритъ,тутъ я все понялъ: и лакея, и свое положеніе. Ахъ, говоритъ, что они обо мнѣ, мерзавцы, подумали!» Сталъ тутъ докторъ сулемой руки мыть. Я говорю: «Дай и мнѣ, потому я у тебя въ твоихъ журналахъ архіереевъ искалъ». Ну, тѣмъ не менѣе, говоритъ, далъ онъ мнѣ свою карточку, и пріятель его мою печенку попользовалъ...»

Парфеній тихо улыбался. Поостывалъ самоваръ. Мягко ступая на цыпочки, точно здѣсь былъ тяжело больной, служка принесъ къ подписи какія-то бумаги.

Благочинный поднялся!

— Юмористъ, юмористъ! — сказалъ Парфеній. — Какъ, говорите, его фамилія?

— Вуколъ Филантроповъ.

— Такъ. И изъ какой говорите, мѣстности?

— Изъ села Хвостаково, владыко.

X.

Случилось какъ-то, что архіерею пришлось вспомнить о хвостаковскомъ дьяконѣ.

Разъ пришла въ бандероли газета съ обведенной краснымъ карандашемъ корреспонденціей. Это всегда было непріятно. Всегда кого-нибудь за что-нибудь обличали. Не безъ непріятнаго чувства Парфеній развернулъ газету и сталъ читать.

Корреспондентъ разсказывалъ, какія иногда картинки разыгрываются «у насъ, въ провинціи». Въ одномъ селѣ жилъ дьяконъ съ благородной фамиліей — Филантроповъ. Дьяконъ не ладилъ съ регентомъ, который былъ и сельскимъ учителемъ. О регентѣ было всѣмъ извѣстно, что онъ выпивалъ. Филантропически ли относился Филантроповъ къ питейнымъ заведеніямъ, исторія умалчивала.

Однажды состоялся волостной судъ. Когда собрались всѣ члены, на столѣ неожиданно оказался живой рѣчной

ракъ довольно крупныхъ размѣровъ. Въ одной клешнѣ у него было согнутое въ четверку прошеніе.

Феноменомъ заинтересовались. Волостной старшина взялъ прошеніе и прочелъ его передъ членами. Оказалось, это была петиція отъ раковъ мѣстной рѣки Сквери. Раковъ очень безпокоитъ, что населеніе беретъ воду изъ рѣки. Рѣка мелѣетъ. Они просятъ, чтобы управляющимъ назначили сельскаго учителя и регента такого-то. Онъ никогда не употребляетъ воды,—пьетъ только водку.

Надъ прошеніемъ посмѣялись и отдали его регенту. Тотъ узналъ, что оно писано рукою дьякона. Самъ Филантроповъ не отказывался отъ этого, но увѣрялъ, что сдѣлалъ это по усердной просьбѣ раковъ. Корреспондентъ заканчивалъ сообщеніемъ, что учитель намѣренъ привлечь сослуживца къ отвѣтственности за опозореніе своего имени.

«Не унимается!»,—подумалъ Парфеній.

У него было много дѣлъ, хлопотъ, просьбъ и назначеній въ головѣ. Но имя Филантропова ему уже запомнилось.

Этотъ человѣкъ могъ быть дурнымъ, задирой, кляузникомъ. Было бы правдоподобно, что онъ выпиваетъ. Но, вѣрнѣе всего, это былъ обыкновенный, талантливый русскій человѣкъ не на своемъ мѣстѣ. Можетъ быть, онъ расцвѣлъ бы, попавъ на свою спеціальность. Казалось несомнѣннымъ, что онъ не былъ ни дуракомъ, ни ничтожествомъ.

«Надо будетъ при случаѣ посмотрѣть!»—сдѣлалъ себѣ архіерей отмѣтку въ умѣ, и на чистомъ листѣ своей записной книжки крупно бросилъ неровнымъ почеркомъ:

— «Дьяконъ Вуколъ Филантроповъ, изъ села Хвостакова. Юмористъ. Ракъ съ прошеніемъ. О немъ же разсказывалъ Дмитрусенко»...

XI.

Въ селахъ мыли церкви, и въ неурочное время то тамъ, то здѣсь безалаберно-радостно звонили колокола.

Викарій ѣздилъ по епархіи. Въ каждомъ номерѣ мѣстныхъ «Епархіальныхъ Вѣдомостей» печатались корреспонденціи о томъ, какъ первосвященный Парфеній ѣздилъ, служилъ, распоряжался; печатались его рѣчи, оглашались резолюціи.

Парфеній сдѣлалъ по уѣзду петлю и уже предвкушалъ радость скораго возвращенія домой. Если со стороны, по отчетамъ Вѣдомостей, его движеніе было похоже на тріумфальное шествіе, то это совсѣмъ не представлялось въ такомъ свѣтѣ старому викарію. И послѣ полутора мѣсяца разъѣздовъ въ его душѣ было только одно желаніе—своей постели, своего кабинета, покоя и отдыха.

Можетъ быть, когда-нибудь въ другое время это могло казаться вожделѣннымъ, насыщать и льстить, — и эти встрѣчи, и всюду вызываемое волненіе, и колокольные звоны, и почетныя кажденія на службахъ, когда протодьяконъ кадилъ на образа по разу, а ему трижды.

Но теперь, въ шестьдесятъ лѣтъ, все это только утомляло, казалось такимъ ненужнымъ, лишнимъ и недостойноземнымъ. Теперь было особенно тяжело не ѣсть съ утра до часу, спать на жесткихъ, незнакомыхъ и каждый день новыхъ тюфякахъ, слушая раннимъ утромъ коровій ревъ и пѣтуховъ, когда и на своемъ собственномъ ложѣ дома, въ полной тишинѣ, ему спалось уже плохо.

И раздражающе дѣйствовалъ на нервы всякій церковный людъ, совавшій ему въ руки прошенія, гдѣ только было возможно, и непривычные деревенскіе дьякона, застегивавшіе дрожащими руками, съ испугомъ въ лицѣ, саккосъ и омофоръ не на тѣ пуговицы.

Горка прошеній все росла и росла, дѣлала портфель совсѣмъ пузатымъ и пугала за будущее. Парфеній пробовалъ было разсматривать ихъ въ каретѣ, но сразу бросилъ.

Большею частью по ненаѣзжанной дорогѣ такъ трясло, что было впору думать только о томъ, куда упереть спину и ноги, чтобы найти неподвижную точку, и какъ бы не навалиться на сидѣвшаго большею частью рядомъ какого-нибудь благочиннаго.

Каждое утро думалось, что удастся «дойти до дѣла» вечеромъ. Но незамѣтно подходилъ вечеръ. Ощущеніе тяжелой, нездоровой сытости послѣ обѣда не исчезало весь день, и такъ утомляли систематическая ѣзда, службы, благословенія, разговоры, все на одинъ ладъ,—что хотѣлось пораньше раздѣться и лечь, или просто побыть на воздухѣ одному и безъ всякихъ думъ.

И такъ было день за днемъ.

Въ одну дождливую субботу, когда архіерею было какъ-то особенно не по себѣ, и особенно ныла хваченная ревматизмомъ правая сторона,—онъ вдругъ рѣшилъ отложить всѣ бумаги до возвращенія и сбросить съ маршрута четыре села, лежавшія нѣсколько въ сторонѣ слѣдованія. Онъ взялъ благочиннаго за цѣпочку его креста и сказалъ:

— Къ вашимъ сосѣдямъ я не поѣду. Благоволите послать нарочныхъ и вытребовать отцовъ настоятелей сюда къ вамъ, въ Большіе Главари. Въ шесть отслужимъ всенощную и побесѣдуемъ, а завтра соборнѣ литургію...

XII.

Къ вечеру было большое оживленіе въ Большихъ Главаряхъ.

Подходилъ народъ, узнавшій, что служитъ архіерей. Еще со вчерашняго дня въ селѣ остановился исправникъ. Къ церковному дому то и дѣло подъѣзжали одноколки съ сосѣднимъ духовенствомъ.

Все это встрѣчалось, громко здороваясь и звонко цѣлуясь, у церковнаго дома, размѣщалось у священника, у дьякона, у просвирни, у учителя и располагались на ночь.

Пріѣхало семеро священниковъ, трое съ дьяконами, нѣкоторые съ сыновьями, изъ кончающихъ семинаристовъ. У большинства на груди на цвѣтныхъ ленточкахъ болтались медальки.

Старики держались чинно и какъ бы нѣсколько испу-

ганно. Наоборотъ, все помоложе, кому наскучило деревенское однообразіе, весело шушукалось, возбужденно жестикулировало, со смѣхомъ передавало другъ другу, какъ ихъ засталъ вызовъ.

— У меня тесть пріѣхавши, — таинственно говорилъ высокій и сухой клирикъ собрату, — только это мы за обѣдъ сѣли, и я по рюмочкѣ рябиновой налилъ (самъ настаиваю), вдругъ нарочный въ окно стучитъ. Ахъ, шутъ тебя возьми! — не могъ времени выбрать! — «Чего тебѣ, оглашенный?» — «Отъ благочиннаго бумага, — распишитесь!»—Расписался, прочелъ. «Пить, думаю, аль не пить?» Тесть говоритъ: «дерзни!».

Сухой попикъ прищурилъ глазъ и еще таинственнѣе докончилъ:

— Дерзнулъ! И даже двояшечку, чтобы одна не заскучала. Всю дорогу сухой чай жевалъ. Не слыхать?

Онъ наклонялся къ носу слушающаго и дышалъ. Собесѣдникъ ловилъ его дыханіе и утѣшалъ:

— Не слыхать! Ничего!

... Всенощная была долгая. Пѣли зычно и почти красиво всѣ съѣхавшіеся, и за открытыми окнами пѣли лѣтнія птицы...

Потомъ долго пили чай и вели бесѣду.

Въ домѣ мѣстнаго причта было тѣсно. Чуть не десятый самоваръ ставила работница. Часовъ въ десять сдѣлали перерывъ, и владыка ушелъ, обѣщавъ, что постарается еще повидаться—«передъ сномъ грядущимъ».

XIII.

Теперь Парфеній сидѣлъ одинъ у окна во второмъ этажѣ благочинническаго дома и смотрѣлъ внизъ, на большой чистый дворъ.

Молодежь, съѣхавшаяся на праздникъ, высыпала на этотъ дворъ, отдыхая отъ церковной духоты. Можно было

догадываться, что по началу, вѣроятно, сюда собралась мѣстная дѣтвора поиграть «въ городки». Незамѣтно къ нимъ подстали семинаристы. Подошелъ кой кто и постарше. Нѣсколько «отцовъ» въ подрясникахъ и безъ шляпъ сидѣли въ сторонкѣ, наблюдая игру и одобряя ловкачей.

Не было сомнѣнія, — никому не приходило въ голову, что архіерей могъ это видѣть. Прилегшій на окно Парфеній былъ закрытъ густой шапкой высокаго тополя, немножко мѣшавшаго видѣть ему вторую половину двора.

Игравшіе дѣлились на два «города». Въ каждомъ были свои силачи и искусники. Когда одинъ «конъ» кончился, побѣдители вскочили на спины побѣжденныхъ, и подъ общій хохотъ тѣ трижды обвезли ихъ вокругъ городковъ, вмѣстѣ взятыхъ.

Парфеній взглянулъ на играющихъ усталымъ и тяжелымъ взглядомъ, но странно и неожиданно для него самого зрѣлище заняло его. Игроки вносили сюда столько молодого азарта, такъ весело звучали ихъ голоса, съ такой силой летѣли тяжелыя палки изъ ихъ ловкихъ гибкихъ рукъ, — что ему просто стало жаль отойти, не узнавъ, чѣмъ кончится.

«Кончатъ этотъ «конъ»,—и уйду!»—подумалъ онъ.

Но кончился одинъ конъ и другой, а онъ все смотрѣлъ и не уходилъ.

Когда опять по двору проѣхались всадники на двуногихъ коняхъ, изъ среды зрителей вдругъ выскочилъ вертлявый немолодой человѣкъ въ подрясникѣ, съ длинной заросшей волосами шеей, весь нелѣпый, чудной и странно похожій на какую-то домашнюю птицу. Человѣкъ патетически хлопнулъ себя по подряснику и воскликнулъ:

— Эхъ, разгорѣлось во мнѣ сердце молодецкое! Примите меня, ребята. Тряхну стариной. Покажу, какъ въ воронежской бурсѣ въ старые годы игрывали.

— Не разсыпься,—пробасилъ кто-то изъ зрителей.—Въ чемъ душа держится, а онъ туда же въ рюхи!

— Ты не гляди, что я малъ, прыти у меня возовъ на

десять,—огрызнулся человѣкъ, похожій на домашнюю птицу.

— Дай Богъ нашему теляти волка поймати!

XIV.

Смѣшной человѣкъ торжественно засучилъ рукава, поплевалъ въ кулаки, примѣрилъ рукой палку. Онъ вдругъ началъ суетиться, шумѣть, юлить, все время сыпля поговорки, точно онъ былъ налитъ ртутью или ему было не за сорокъ, а восемнадцать лѣтъ.

И всѣ его движенія были до того забавны, такъ несоотвѣтственны ни лѣтамъ, ни одеждѣ, ни зеленому, некрасивому лицу, что на него нельзя было въ самомъ дѣлѣ смотрѣть безъ улыбки.

Когда изъ враждебнаго городка полетѣли палки, онъ положительно не могъ ни минуты постоять на мѣстѣ, вытягивалъ тонкую шею, сновалъ отъ городка къ городку, всматривался близорукими глазами, охалъ, ахалъ, вслухъ радовался и вслухъ огорчался, точно это было для него дѣломъ первой житейской важности.

Онъ отвоевалъ себѣ право бить первымъ, когда еще во вражескомъ городкѣ рюхи стояли пирамидкою. Онъ сталъ у задней черты, забавно выставилъ впередъ тонкую ногу, нацѣлился палкой, какъ пистолетомъ, слегка разбѣжался и метнулъ палку далеко мимо кучки, не выбивъ ни одной рюхи.

— Вотъ это игрокъ! — похвалили его зрители.—Ай, да дьяконъ!

— Сразу видно, что воронежскій!

— У него, братцы, кожи мало!

— Каши бы сходилъ, поѣлъ!

— Ты только себя крѣпче руками за ноги держи, — неровенъ часъ, самъ съ ногъ слетишь.

— И переломишься!

— Ничего, братцы, я и на полу сыпалъ, и то не упалъ.

— А ну-ка, ну-ка еще ахни!

Дьяконъ снова вытянулъ палку, совсѣмъ было приготовился кинуть ее, какъ вдругъ опустилъ руку.

— Легка. Дайте-ка потяжельше.

Все кругомъ захохотало.

— Эхъ, дядя, даромъ зарядъ погубилъ!

— Дайте ему хорошую оглоблю.

— Не говори ему, Вася, подъ руку.

— Вы, отецъ, ротъ шире открывайте, когда бьете.

— Ой, Вуколъ, будешь меня катать сегодня на закоркахъ!

— Не всѣ сразу! — спокойно возразилъ дьяконъ. — За вашимъ языкомъ не поспѣешь босикомъ. Эхъ, мать честная! У попа восемъ коровъ, у дьячка девята, вышибай, ребята!

И вдругъ, взмахнувъ палкой въ воздухѣ, онъ метнулъ ее въ самое основаніе горки съ такой силой, что всѣ рюхи, какъ вспугнутые воробьи съ конопли, брызнули вверхъ, направо, налѣво, подъ ноги играющимъ, къ ногамъ зрителей, со стукомъ брякнули въ заборъ и заставили рѣшительно всѣхъ вскочить съ мѣста, изъ опасенія получить неожиданно фонарь.

— Вотъ громъ не изъ тучи!—произнесъ кто-то, когда мгновеніе оцѣпенѣнія прошло.

— Это еще прокименъ, а ты посмотри, что дальше будетъ! — самохвально сказалъ дьяконъ, упершій руки въ бока и похожій на еврея въ лапсердакѣ, стоящаго передъ выхваляемой лошадью.

— Нѣтъ, братцы, къ нему безъ рукавицъ не подходи!

— Носъ курносъ и рыло дудкой, а, скажи на милость, какъ ахнулъ!

Мальчуганы подсчитывали итоги. Изъ сорока рюхъ въ городѣ сидѣло какихъ-нибудь семь. Попавшія на черту рюхи поставили. Это были такъ называемые «попы».

— Ну, на попа-то руки не подымешь! — пригрозили дьякону.

— Давай мнѣ хошь архіерея!— съозорничалъ тотъ.

— Ты, братъ, не очень! — тихо осадилъ его кто-то — Знай, куда пріѣхалъ.

На дворѣ на минуту стало тихо. Парфеній слышалъ, какъ чей-то голосъ сказалъ:

— Сходи, Сеня, погляди. Вонъ не тѣ ли окна!..

XV.

Викарій снялъ руки съ подушки и отошелъ въ комнату. Больше онъ уже ничего не видѣлъ. Еще нѣсколько минутъ продолжался шумъ и стукъ на дворѣ. Моментами вспыхивалъ хохотъ. Можетъ быть, смѣялись надъ тѣмъ, какъ старый бурсакъ ѣздилъ на чьей-нибудь спинѣ или кого-нибудь возилъ. Вдругъ точно ножомъ обрѣзало шумъ. Стало тихо и мертво на дворѣ. Вѣрно, кто-то предупредилъ, что рядомъ архіерей.

Передъ самымъ сномъ Парфеній снова вышелъ къ духовенству. Уже у всѣхъ были серьезныя лица и строгія глаза.

— Помолимся,—сказалъ викарій.—Кого-нибудь попрошу прочесть молитвы на сонъ грядущій.

Кто-то вызвался сходить за молитвенникомъ. «Конечно, кто-нибудь прочтетъ наизусть», — предложилъ архіерей. Стоявшіе перешептывались. Неужели никто не знаетъ? Конечно, знаютъ, но трудно поручиться, что прочтешь наизусть и не напутаешь, въ присутствіи владыки и при нѣкоторомъ волненіи.

— И никто не можетъ?—уже удивленно и огорченно спросилъ Парфеній.

Тогда вышелъ сухенькій дьяконъ, тотъ самый, что игралъ въ рюхи,—неуклюже, въ бокъ, поклонился владыкѣ и сказалъ:

— Благословите, владыко. Я прочту.

Широкій архіерейскій рукавъ взлетѣлъ въ воздухъ.

Дьяконъ началъ, немножко волнуясь и скрадывая слова,

но увѣренность скоро вернулась къ нему. Когда онъ сказалъ послѣднее «аминь» и положилъ послѣдній крестъ, архіерей благословилъ его, перваго, и сказалъ:

— Спасибо! Фамилія какъ?

— Вуколъ Филантроповъ.

— Хочу съ тобой говорить, отецъ. Завтра служишь?

— Служу, ваше преосвященство.

— Въ совершенствѣ? *)

— Въ совершенствѣ.

— Такъ вотъ завтра послѣ литургіи заявишься ко мнѣ.

XVI.

Филантропова поздравляли «съ отличкой» и ему завидовали.

Ожиданія архіерейской милости особенно усилилось послѣ того, какъ одинъ старый протопопъ разсказалъ случай съ митрополитомъ Филаретомъ кіевскимъ, когда тотъ неожиданно, безъ всякихъ приготовленій и предупрежденій, взялъ да и посвятилъ однажды при своемъ служеніи нѣкоего печерскаго іеродьякона въ священники.

— Захудалый былъ монашекъ и у всѣхъ въ загонѣ. Іоной звали. Митрополитъ, видите-ли, не разъ его хотѣлъ повысить, а ему говорятъ: «Онъ у насъ болѣзненный, не снесетъ тяготы священства». Монашекъ же, надо вамъ сказать, митрополиту зѣло понравился: больно ужъ хорошо молился, да и, сказываютъ, Филаретъ-то въ ту пору ужъ былъ прозорливымъ. Разъ такъ-то служилъ онъ обѣдню въ лаврѣ. Между прочимъ, и Іона тутъ же въ алтарѣ стоитъ, ектеньи говоритъ, молится. Подзываетъ его митрополитъ передъ «Херувимской». — «Ты, говоритъ, въ совершенствѣ

*) Церковный терминъ. Дьяконъ имѣетъ право участвовать въ литургіи, не причащаясь. Служить въ совершенствѣ, — значитъ служить, приготовившись къ причащенію.

служишь?»—«Въ совершенствѣ!»—отвѣчаетъ.—«Помолись, говоритъ, хорошенько, — я тебя сейчасъ хиротонисаю во пресвитера». Тотъ взмолился:—«Какъ такъ, владыко святый, да я даже и не готовился, и не зналъ».—«Богъ проститъ,— помолись сейчасъ!» — И что же бы вы думали? Во время «Херувимской» дѣйствительно возложилъ ему воздухъ на голову вмѣсто плеча и велѣлъ монахамъ «Исаію» пѣть и «Святыхъ мучениковъ». Такъ и посвятилъ всѣмъ на удивленіе и въ поученіе. А изъ Іоны потомъ игуменъ вышелъ. Тамъ въ этой самой кіевской лаврѣ и настоятельствовалъ.

— Ну, положимъ, это митрополитъ, да и митрополитъ-то не какой-нибудь, а Филаретъ, да и времена-то Мафусаиловы,—возражали болѣе умѣренные.—Нынче ежели архіерей такъ сосвоевольничаетъ, такъ ему и самому не поздоровится. Нынче, братцы, если-бъ валаамова ослица проглаголала, такъ и ее бы при бумагѣ въ консисторію препроводили.

— Не то, и не другое, — говорили про Филантропова шутники.—Владыкѣ его козлетонъ больно понравился, онъ его и хочетъ къ себѣ въ соборные протодьяконы взять.

— Грудныхъ ребятъ пугать, али просто въ свои огороды горохъ сторожить.

XVII.

Послѣ долгой и пышной обѣдни Парфеній отдыхалъ.

Доложившись келейнику, что владыка его «хотѣлъ видѣть», Вуколъ долго терпѣливо поджидалъ на лѣсенкѣ, когда его соблаговолятъ принять.

Наконецъ, прихрамывающій, какъ Исавъ, Игнатій отворилъ дверь и сказалъ:

— Идите. Владыка проситъ.

Парфеній благословилъ подкатившагося къ нему Филантропова и сѣлъ въ кресло. Старикъ былъ въ одномъ подрясникѣ, безъ панагіи, въ толстыхъ серебряныхъ очкахъ, дѣлавшихъ его лицо непривычнымъ, незнакомымъ, но ум-

нымъ и интеллигентнымъ. Въ сосѣднее кресло сѣлъ мѣстный священникъ, хозяинъ дома.

— Ну-тка, дай намъ взглянуть, какіе счастливые люди бываютъ, — сказалъ архіерей. — Сядь вотъ сюда. Сюда къ свѣту. Вотъ съ о. Григоріемъ рядомъ.

Вуколъ снова поклонился, давая понять, что онъ въ своемъ маленькомъ чинѣ можетъ и постоять. Но архіерей настойчиво повторилъ предложеніе и указалъ на стулъ, а батюшка даже слегка двинулъ его за спинку, что Вуколъ понялъ въ смыслѣ—«садись, дуракъ, когда просятъ».

Филантроповъ сѣлъ на кончикъ и началъ сучить ручками, какъ младенецъ, не зная, куда ихъ, собственно, полагается дѣвать въ такихъ случаяхъ.

— Давно живу на свѣтѣ,—сказалъ владыка,—а веселаго человѣка почти не встрѣчалъ. Что ты такой поджарый да зеленый? Здоровъ?

— Я, ваше преосвященство, давно нездоровъ. У меня печень.

— Это, вѣдь, говорятъ, очень болѣзненно?

— Какъ камни идутъ, никакой мочи нѣтъ, владыко. Упру ноги въ рѣшотку, а спину въ стѣну и мычу, какъ больной волъ.

— Подите-жъ,—повернулся архіерей къ священнику, — и кто бы сказалъ: юмористъ, а съ больной печенью!

Вуколъ не дослышалъ слова, но переспросить не посмѣлъ, только всею своей фигурой выразилъ это.

Парфеній догадался.

— Юмористъ, говорю, комикъ. Веселый человѣкъ, а печень. Не бываетъ такъ!.. Слухъ даже про тебя идетъ, Филантроповъ. И я слыхалъ. И самъ видалъ и смѣялся. Кто же, скажи, вчера кого на спинѣ каталъ,—ты или тебя?

Филантроповъ еще болѣе съежился и «сократился».

— Грѣшенъ, ваше преосвященство.

— Чего тутъ грѣшенъ! Такой веселый, о. Григорій словно въ немъ иголка ходитъ. Малымъ ребятамъ на зависть. Что ни повернется,—прибаутка.

XVIII.

Парфеній по-дѣтски весело разсмѣялся, но взглянулъ на дьякона и пересталъ смѣяться.

Глаза у Филантропова погасли, напряженной позы какъ не бывало. Теперь онъ даже какъ-то глубже сидѣлъ на стулѣ, и архіерей услышалъ исполненный глубокой грусти голосъ:

— Я, владыко, самый печальный человѣкъ на свѣтѣ!

— Ну, вотъ что-то ужъ совсѣмъ непохоже! Съ женой живешь?

— Я вдовъ, владыко. Моя жена годковъ пятнадцать какъ въ проруби утонула.

— Утонула?

— Господь ее знаетъ, благостный владыко! Можетъ быть, даже и сама взяла грѣхъ на душу. Не любила она меня. Съ первыхъ дней не полюбила. И такъ навсегда. Все грозилась: утоплюсь, говоритъ, а съ тобой жить не стану. Другого она любила, и противъ воли ее за меня выдали. «Со взятіемъ» было мѣсто. Только полтора года вмѣстѣ и пожили.

— Дѣти были?

— Сынъ, владыко. Грѣхъ роптать, а только такой, что, пожалуй, и лучше, ежели бы не было.

И видя, что Парфеній смотритъ вопросительно, пояснилъ:

— Алкоголикъ, владыко. На себѣ одежду не держитъ. Со всякимъ послѣднимъ мужикомъ пьетъ. Обманомъ залучу его домой, сижу съ нимъ пьяненькимъ, всякими разговорами занимаю,—лишь бы на людяхъ не толкался, отца не порочилъ.

— И самъ пьешь?

— Встарину, владыко, пилъ. А нынче мнѣ и безъ вина съ печенью смерть.

— Откуда-жъ ты, отецъ, столь весело живешь? Ракамъ-то прошеніе, небось, ты писалъ?

— Я, ваше преосвященство.—Лицо Вукола сложилось въ

гримасу, вѣроятно, означавшую улыбку.—Игра воображенія, простите. Только ежели бы безъ этого,—не знаю какъ бы я и на свѣтѣ жилъ! Опять же такъ я разъ навсегда въ себѣ рѣшилъ: отъ того, что я передъ людьми вѣчно хныкать буду, не будетъ никому ни свѣту, ни радости. Только людямъ тоска. Вотъ я и напускаю на себя, будто мнѣ нивѣсть какъ ужъ весело. А пригорюниться и дома успѣю.

— Это умно!—сказалъ Парфеній, повернувшись къ священнику.—Это совсѣмъ умно. Ты философъ. Ну, а что же, со священникомъ своимъ теперь ладишь?

— Онъ меня жалѣетъ, ваше преосвященство, а я ему ни своимъ горемъ, ни своей бѣдностью не докучаю. Развѣ что иногда не въ пору разсмѣшу.

— Небось, тянешься на другой приходъ, — подоходнѣе.

— Встарину перепрашивался, владыко, да толку не вышло: неученый я,—съ приготовительнаго класса. А теперь ужъ, пожалуй, и поздно. И женина тамъ могила и отцова. И материна. Мать мою тоже «со взятіемъ» выдали, и, прости ее Господь, тоже она моего отца не любила. Опять же тамъ и къ Афонѣ привыкли и не судятъ. Раздумаешься такъ-то,—оно и лучше выходитъ не суетиться...

Попадья вошла съ подносомъ, на которомъ стояли два стакана чаю, медъ, варенье, домашніе пряники и какой-то графинчикъ, и стала предъ архіереемъ.

Вуколъ инстинктивно почувствовалъ себя лишнимъ и поднялся.

Парфеній разсѣянно взглянулъ на него, на подносъ, опять на него... Третьяго стакана не было. Матушка не имѣла въ виду ни себя, ни его.

Архіерей тоже поднялся, сдѣлалъ шагъ изъ-за стола, благословилъ сложенныя въ горсточку руки Вукола и, благословляя, сказалъ:

— Что молитвы наизустъ знаешь, — хвалю. Заключаю, что и молишься. А послѣ всенощной, передъ литургіей все-таки рюшки-то оставь. Слышишь,—рюшки оставь! Благоговѣйному дьякону не подобаетъ. Дѣло не грѣшное, но—уви-

дитъ мірской человѣкъ и согрѣшитъ осужденіемъ: хорошъ, скажетъ, дьяконъ!..

XIX.

Вотъ откуда, собственно, и пошелъ по уѣзду невѣроятный разсказъ о томъ, какъ хвостаковскій дьяконъ пилъ чай у преосвященнаго Парфенія.

Справедливость требуетъ сказать, что виновникомъ этого несообразнаго слуха былъ не кто иной, какъ самъ хвостаковскій дьяконъ. Но въ оправданіе ему надо прибавить, что, кажется, это было не столько сознательное измышленіе тщеславія, сколько та же игра необузданной юмористической фантазіи, какая сложила ему его репутацію.

Дѣло въ томъ, что, конечно, по выходѣ отъ архіерея, его обступили со всѣхъ сторонъ клирошане, нарочно не разъѣзжавшіеся до выясненія той великой и богатой милости, какую долженъ былъ, по общему ожиданію, пролить на него владыка.

Филантроповъ почувствовалъ, что передать разговоръ, въ которомъ архіерей не посулилъ ему даже «благословенной грамоты», значило бы просто быть нелюбезнымъ къ ожидающимъ, да и разочаровать всѣхъ въ архіереѣ. И почти машинально на вопросы —«ну, что», «ну какъ» — онъ по первому движенію своей фантастической души отвѣтилъ:

— Что «какъ?»—ну, напоилъ меня владыка чаемъ, побесѣдовалъ со мной благостно,—чего же еще? Не въ протопопы же, въ самомъ дѣлѣ, меня ставитъ!..

Такъ какъ въ этотъ день изъ Большихъ Главарей во всѣ стороны потянулись пріѣзжіе, то слѣдомъ за ними поползла и диковинная вѣсть о счастливомъ дьяконѣ, котораго архіерей потчевалъ чаемъ за своимъ столомъ изъ собственныхъ рукъ.

Въ томъ, какъ всѣ этому вѣрили, было живое доказательство того, какъ человѣчество жаждетъ легенды и сказки, и хотя батюшка изъ Главарей не разъ впослѣдствіи гово-

рилъ на разспросы, что ничего подобнаго не было, — слушавшіе, однако, гораздо охотнѣе вѣрили Филантропову, а въ объясненіе разногласія просто прибавляли,—«завидуетъ»!

Въ минуты откровенности и не однимъ близкимъ людямъ самъ Вуколъ иногда разсказывалъ правду:

— Все это, дитя мое, чепуха. Чай-то, дѣйствительно, при мнѣ подали, и пряники, и млеко, и отъ пчелъ сотъ,— однако, моему суконному носу все сіе удалось токмо понюхать.

Но ужъ и ему самому почти не вѣрили и поясняли: «скромничаетъ!»

Парфеній, конечно, въ тотъ же день уѣхалъ и, когда вернулся къ себѣ и къ своимъ скучнымъ дѣламъ, и прошелъ годъ-другой, — все, что было связано съ этимъ объѣздомъ епархіи, стало, по вѣчному закону, казаться ему и свѣтлымъ, и добрымъ.

Запомнился ему хорошій лѣтній вечеръ въ довольно богатомъ селѣ, и смѣшной дьяконъ, игравшій въ рюхи съ прибаутками и потомъ удивившій его прочтеніемъ единымъ духомъ наизусть всѣхъ тринадцати длинныхъ молитвъ «на сонъ грядущимъ».

Ни названія села, ни фамиліи дьякона архіерей, разумѣется, уже не помнилъ, но, что всего замѣчательнѣе въ психологическомъ отношеніи, этотъ человѣкъ, бѣгло повѣдавшій ему свою горькую повѣсть и представшій ему на минуту несчастливцемъ, которому не могъ бы позавидовать послѣдній нищій,—такъ-таки и остался въ его памяти презабавнымъ юмористомъ...

ЗА ЧУДОМЪ.

I.

Я ѣхалъ туда, куда народное чувство гнало тысячи и сотни тысячъ на предстоящій «пиръ вѣры».

Она поднималась отовсюду, съ людной средины, съ далекихъ окраинъ, скудная, нищая, недужная Русь, и тянула къ этой точкѣ родины—на усталыхъ ногахъ, въ липовыхъ лаптяхъ, на деревянныхъ костыляхъ, на самодѣльныхъ, точно игрушечныхъ тачкахъ о трехъ колесахъ, — на поклонъ своему «сермяжному святому».

На арзамасскомъ вокзалѣ меня ошеломило и потрясло зрѣлище этой убогой и немощной Руси. Вся огромная, вновь выстроенная платформа вокзала захлебнулась толпой. Точно схлынуло восемнадцать вѣковъ, и предо мной была библейская Виѳезда, куда собирались отъ востока и запада ждущіе ангела и чающіе движенія воды.

Гдѣ таились они до сихъ поръ, эти безногіе, безрукіе, скорченные человѣческіе обрубки, сохранившіе голову на остаткѣ туловища, люди-змѣи, узкіе и выгнутые въ сторону, человѣки-козлы съ широкимъ лбомъ, на который нелѣпо выскочилъ единственный глазъ, бабы-кликуши съ искривленными, коричневыми лицами, юродивые въ огромныхъ четырехугольныхъ шапкахъ, служившихъ кому-то прежде футляромъ для камилавки или шкатулкой! Точно вдругъ раскрыла свою пасть долина Энномская и выплюнула всѣхъ, кого копила вѣками отъ сложенія міра.

Все это темное, нищее, больное, сожженное солнцемъ, покрытое пылью, жалкое и страшное стонало, мычало, про-

сило, провожало свѣжаго человѣка неотвязчивымъ, прилипающимъ взглядомъ, тянуло къ нему ужасные обнаженные члены, распахивало мясо своей груди въ ранахъ, пятнахъ и язвахъ.

Чудилось, что подъ этимъ, вновь устроеннымъ помостомъ неокрашеннаго, еще свѣже-благоуханнаго дерева скопилось зловонное испареніе, въ которомъ трудно дышать и отъ котораго кружится голова. Съ непривычки хотѣлось бѣжать безъ оглядки изъ этого царства живыхъ тѣней, протянувшихъ измученныя тѣла на грязномъ полу платформы и жадно прислонившихъ изнемогшія спины къ вокзальнымъ столбамъ.

Нельзя было отогнать пугливой мысли, какъ бы это человѣческое мясо, точащее кровь и гной, не коснулось вашей руки, и только усталые и обозленные стражники, не брезгуя, сновали въ толпѣ, расталкивали ее и за жалкія холодныя культяпки выводили изъ нея шумѣвшихъ.

Сколько на свѣтѣ страданія и ужаса и горя! И увидѣвъ это воочію, мы всѣ чувствовали себя не въ правѣ спокойно обѣдать, спать, ѣхать въ вагонѣ съ обычными удобствами.

II.

Я не умѣю спать ночей въ поѣздѣ, и моему утомленному трехсуточнымъ бдѣніемъ мозгу все это казалось кошмарнымъ, какъ сонъ вѣдьмы послѣ шабаша.

Было то состояніе, когда мозгъ утрачиваетъ привычное дѣленіе времени на грани дней. День, начавшійся двое сутокъ назадъ, кажется длиннымъ и содержательнымъ безъ конца. Вмѣсто «вчера» стоитъ въ умѣ какая-то глубокая черная бездна, безъ дѣленій и граней. Было вчера и третьяго дня для другихъ, — для тебя вотъ уже давно стоитъ одно длинное, безформенное, мистическое Сегодня.

Какъ я былъ радъ, когда вырвался изъ этого Лурда, и передо мною потянулась длинная, безконечная, прекрасная іюньская степь!

Нигдѣ не чувствуешь въ такой мѣрѣ и силѣ сладкаго и дурманнаго обмана жизни, какъ въ степи. Путь вьется, гремитъ подъ дугой колокольчикъ, и на безбрежное пространство кругомъ разлилось море степи. Изъ солнечной она становится темной, и чернѣетъ красный ситецъ, которымъ подбитъ верхъ моей кибитки.

Къ монотонному перезвону бубенчиковъ точно примѣшивается собачій лай. Вслушиваюсь. Ничего нѣтъ,—шалитъ непривычное къ тишинѣ ухо. Кто-то сбоку догоняетъ кибитку. Но нѣтъ никого. Это только мельница, и стоитъ неподвижно. Вдали идутъ двѣ женщины. Откуда онѣ взялись здѣсь въ бѣлыхъ платьяхъ причастницъ?

Но и это опять обманъ глаза, превратившаго въ женщинъ контуры двухъ далекихъ бѣлыхъ зданій какого-то монастырька въ жидкой зелени. Завиднѣлся издали странникъ. Кажется, видишь его размахивающія руки. Но растетъ и растетъ странникъ, и вотъ онъ уже не странникъ, а опять вѣтряная мельница.

И вотъ вечеръ. Степь уже утомила. Впечатлѣнія ея потускнѣли. Уже все видѣлъ, что она даетъ и обѣщаетъ. Все растетъ и растетъ чувство неясной тоски, такъ отличающей русскую душу...

На этихъ впечатлѣніяхъ отдыхалъ глазъ, но плохо отдыхало тѣло. Телѣга подпрыгивала на каждомъ бугрѣ.

И утромъ, и вечеромъ по краямъ большой дороги тянулся народъ, съ котомками и посохами. Шли глубокіе старики, старыя бабы, молодухи, тащили дѣтей, грудныхъ и подросшихъ. Впрягшіеся вмѣсто лошадей въ маленькія повозки увѣчныхъ, мужья и жены, братья и сестры, волокли своихъ убогихъ.

III.

— Процвѣла есть пустыня, яко кринъ! — сказалъ мой спутникъ, арзамасскій фельдшеръ, командированный земствомъ на праздникъ. Съ нимъ вмѣстѣ мы подрядили воз-

ницу и дѣлили всѣ невзгоды пути,—утренній зной и ночную свѣжесть. — Тутъ, небось, придется имъ и заночевать. А, знаете, въ сказаніяхъ пишутъ, будто «онъ» предсказалъ это своимъ монашкамъ. «Увидите, — говоритъ, — дѣтки мои, пасху прежде пасхи».

«Онъ»—здѣсь было понятно всѣмъ. Все кругомъ заполнило, залило, покорило имя праведника. Здѣсь было его—свое и безраздѣльное царство. Я замѣтилъ, что, чѣмъ ближе мы подъѣзжали, тѣмъ рѣшительнѣе даже обычныя выраженія «Спаси Богъ», «помогай Богъ» смѣнялись другими, гдѣ уже поминался «онъ». Во всѣхъ божницахъ стоялъ его образъ. И, упоминая его, не называли его имени. Говорили, «угодникъ», «батюшка», «онъ»—и всѣмъ было ясно...

— Ѣду я и думаю,—продолжалъ фельдшеръ.—вотъ вся эта братія ищетъ чуда. И думаю такъ,—будетъ дадено ей чудо. Знаменитый писатель Эмиль Зола въ своемъ романѣ «Лурдъ», который я бралъ у доктора, г-на Солончака, противъ этого ничего не имѣетъ, будучи французъ и матеріалистъ. Не знаю, какъ вы, но я, хотя и принадлежу къ медицинской наукѣ, вѣрю въ Бога и хожу въ церковь. Однако, не скрою, иногда смущаюсь мыслями. И вотъ, хоть бы сейчасъ. Смотрю я на нихъ и, прости меня Господи, вижу, — не могутъ всѣ исцѣлиться. Но и положимъ даже, всѣ исцѣлились и сожгли свои костыли, — сотни и тысячи. А будетъ хоть одинъ такой изъ милліоновъ, какой-нибудь Иванъ Петровичъ изъ деревни Черемицы, который поползетъ обратно въ своей тачкѣ по этой самой дорожкѣ, по которой онъ теперь ѣдетъ въ ликованіи сердца. Позвольте васъ спросить, допускаете вы такой случай?

— Ну, конечно.

IV.

— Такъ вотъ, позвольте васъ спросить, почему такъ? Почему? (фельдшеръ совсѣмъ приблизилъ свое лицо къ моему и уставился на меня острыми глазками). Ежели бы

я въ амбулаторіи врача Солончака, арзамасскаго уѣзда, въ селѣ Хватовкѣ, принялъ бы 30 паціентовъ и снабдилъ лѣкарствами, а тридцать первому сказалъ: «иди, голубь, нѣтъ у меня лѣкарства»,—позвольте узнать, похвалилъ бы меня докторъ?

Что я могъ бы отвѣтить ему? Что я не Богъ, а онъ не Іовъ? Но тяжелая усталость сдавливала уста. Не хотѣлось говорить. Да и къ чему велъ бы этотъ разговоръ двухъ дождевыхъ червяковъ, случайно столкнувшихся на дорогѣ и пустившихся судить о солнцѣ и радугѣ!

Я предложилъ ему философствовать и обѣщалъ его слушать, но самъ отказался отъ репликъ и закрылъ глаза.

— Что такъ? Али устали?

— Да, я четвертый день ѣду.

Подъ потемнѣвшимъ небомъ фигуры, тянувшіяся по краю дороги, стали неясными и мутными, точно это были не люди, а плохо вырѣзанные изъ сѣрой бумаги силуэты. Уже мучительно хотѣлось спать, и ныла спина, поясница и отсиженныя ноги.

На двухъ третяхъ пути должна была быть перемычка,— чуть не единственный постоялый дворъ въ небольшомъ селѣ. Давно уже страстно мечталъ я о немъ, тщетно всматриваясь въ каждое дерево и каждый кустъ, вылѣзавшій впереди. «Теперь скоро», которымъ меня долго утѣшалъ возница, уже перестало утѣшать. Фельдшеръ не то обидѣлся, не то самъ усталъ и смежилъ уста.

— А вотъ она и Заимка! — весело воскликнулъ онъ, когда въ сторонѣ во тьмѣ заблестѣли огоньки.—Придется стоять, по меньшей мѣрѣ, часа четыре. Отдыхайте на здоровье.

Лошади обрадовались и побѣжали веселѣе. Еще нѣсколько минутъ, и передъ мордами ихъ запрыгали, какъ резиновыя, три-четыре собаки. Черная плоская хата была передъ нами. Тьма точно зѣвнула свѣтящимся пятномъ двери. Кто-то вынырнулъ изъ свѣта въ тьму и, стоя, опять невидимый, на крыльцѣ, училъ нашего мужика, какъ завернуть лошадь.

Это было совсѣмъ какъ въ романѣ Загоскина или въ забытой повѣсти Нарѣжнаго, и прелесть этого ночного заѣзда въ степной постоялый дворъ столичный человѣкъ могъ чувствовать даже сквозь жестокую тяготу утомленія.

V.

Изба напоминала вокзалъ третьяго класса, гдѣ столпился народъ передъ отходомъ поѣзда.

Протянувшись въ углу, на лавкѣ, спалъ тучный священникъ съ женой и взрослой дочкой, очевидно, самый почтенный, а, можетъ быть, и просто самый ранній изъ гостей. Рядомъ на лавкахъ, на табуретахъ, на приступкѣ у печки, даже на полу, сидя, полулежа, согнувшись калачикомъ, расположился разный людъ, преимущественно купеческой складки. Кто-то, очевидно больной, поохивалъ на полатяхъ, и трудно было понять, мужчина это или старая женщина.

Мы вымылись, закусили и поторопились занять мѣста, гдѣ еще можно было прислониться къ стѣнѣ и задремать. Несмотря на спящихъ, много голосовъ говорило вразъ. Кто-то, можетъ быть по адресу меня и фельдшера, распространялся о грѣхѣ пить молоко въ постъ. Кто-то старательно выяснялъ самый короткій путь на Понетаевку.

Я долженъ былъ нѣсколько времени втянуться въ эту обстановку, чтобы различить среди голосовъ одинъ, журчащій покойно и ровно и явно что-то разсказывавшій. Исходилъ онъ изъ-за большой печи, за выступомъ которой была, видимо, одна изъ самыхъ уютныхъ лавокъ.

Голосъ былъ мужской, но мягкій до женскаго оттѣнка, тотъ сладенькій, «елейный» голосъ, которымъ говорятъ сбирающіе на масло монахи, боголюбивые страннички и лавочные сидѣльцы среднихъ губерній изъ тѣхъ, что въ будни умѣютъ надуть всякаго, обласкавъ и привѣтивъ, а по праздникамъ подтягиваютъ ирмосы на клиросѣ.

Что́ онъ разсказывалъ, мнѣ поначалу представлялось

неяснымъ, но это было, повидимому, что-то ударяющее въ мистическій стиль легенды. Повѣсть шла о какомъ-то случаѣ въ Касимовѣ, въ домѣ нѣкоего почтеннаго человѣка, котораго разсказчикъ хорошо зналъ. Человѣкъ содержалъ обозъ извозчиковъ и, между прочимъ, имѣлъ дѣло съ однимъ мужикомъ, ходившимъ за десятскаго.

Однажды хозяинъ съ нимъ повздорилъ и отказалъ ему. Десятскій озлобился, «какъ дьяволъ», и, уходя, сказалъ, что хозяинъ его «попомнитъ». «И этакъ на него посмотрѣлъ». Съ той поры долгое время, какъ ночь, такъ у хозяина звонилъ дворовый звонокъ, протянутый черезъ весь дворъ къ его дому.

— Всѣ это слышатъ, собаки бѣгутъ по двору, какъ бѣшеныя, но — подойдутъ съ фонаремъ къ воротамъ, никого нѣтъ. Было такъ разъ и десять разъ, а потомъ этому и счетъ потеряли.

— Да дай послушать! — недовольно окрикнулъ чей-то грубоватый и увѣренный голосъ мужиченку, все еще не кончившаго съ путемъ на Понетаевку, и слѣдомъ бросилъ, очевидно, по адресу разсказчика благосклонное:

— Ты малость погромче!

— Съ превеликою охотою, любимецъ Христовъ!—отвѣтилъ елейный голосъ, уже не оставляя сомнѣнія, что это кто-то изъ церковныхъ.

VI.

Окрикъ подѣйствовалъ, точно начальническій приказъ. Въ помѣщеніи вдругъ стало тихо. Точно смущенный молчаніемъ, сморившійся батюшка на минуту всхрапнулъ безпокойно и громко и опять задышалъ ровно и мѣрно.

— Отслужилъ хозяинъ молебенъ,—журчалъ голосокъ,—нѣтъ, не проходитъ. Около полночи,—не могу вамъ доподлинно объяснить, въ самые ли двѣнадцать часовъ,—дергъ кто-то въ звонокъ. Истинное сатанино навожденіе!

— Отводъ глазъ! — сказалъ кто-то басомъ съ полатей. — Ничего такого не было, а отведи человѣку глаза,— и не то почувствуетъ.

— Не могу спорить, милостивый господинъ, можетъ быть и призоръ очесъ. Однако, позвольте сказать, мало того, что хозяинъ сей звонъ слышалъ, но и жена его, и присные, и даже, сказываю вамъ, и собаки полошатся и бѣгутъ.

— Отъ призора очесъ и надо было молитву читать,— не иначе, — авторитетно подтвердилъ басъ. — Спроси вонъ хошь батюшку.

— Батюшка изволятъ спать, — возразилъ елейный голосъ, — но я такъ полагаю, что если тутъ надо было молитвой брать, то не иначе, какъ изъ требника Петра Могилы службу править.

— Это какая-жъ такая могила?—спросилъ купецъ, установившій тишину.

— Петръ Могила былъ митрополитъ въ Кіевѣ и отпечаталъ этотъ требникъ «Эвхологіонъ» во святой великой чудотворной кіевской лаврѣ. Надо полагать, при Алексѣѣ Михайловичѣ, коли не раньше. Превеликая это нынѣ рѣдкость, и любая старообрядческая община за него сотъ шесть соберетъ съ великой радостью. Только всѣ эти книги наперечетъ, и ужъ больно мало ихъ до нашего дня уцѣлѣло.

— Чего же ее тогда не переиздадутъ?—спросилъ фельдшеръ, котораго я уже считалъ заснувшимъ.

VII.

— Потому, любимецъ Христовъ, не переиздадутъ, что хотя и не отречена, но запрещена та книга. На архіерейскомъ соборѣ положили ее болѣ не печатать,—такъ полагаю, потому, что не слѣдъ ее всякому человѣку видѣть. Есть ея главная сила въ томъ, что содержитъ она молитвы объ избавленіи отъ обуреванія и насилія духовъ нечи-

стыхъ и молитвы заклинательныя на всякія чародѣянія и обаванія человѣковъ и скотовъ, и домовъ. И такова сила этихъ молитвъ, что кто ихъ чтетъ съ великимъ дерзновеніемъ, — не можетъ тому бѣсная сила противостоять. И гдѣ ихъ чтутъ, изыдетъ оттоль всякъ бѣсъ, змѣевидный и звѣроличный, яко паръ, или яко птица, и Нощеглагольникъ, и Домоволшебникъ, и привидѣный демонъ, и всякъ бѣсъ утренній и полуденный, и полнощный,— отъ моря и отъ рѣки, отъ земли и отъ кладезя, отъ дубравы и отъ водопутія, и отъ гроба идольскаго, и отъ покрова баннаго.

— Вы, надо полагать, эту книгу видѣли?—спросилъ купецъ почтительнѣе и перейдя на вы.

— Сподобилъ Господь. Какъ былъ въ Стародубѣ, у одного человѣка старой вѣры видѣлъ. Большая такая книга, какъ нашъ Типиконъ или Тріодь Постная. И картину тамъ видѣлъ, какъ Господь нашъ гергесинскихъ бѣсовъ въ стадо свиное изгоняетъ. Токмо въ этой церковной книгѣ есть изображеніе бѣсной силы, — нигдѣ болѣ! Сказывали мнѣ раньше, будто есть тутъ и заклинательная молитва на разбойнаго человѣка въ степи. Кто сію молитву знаетъ, тотъ злодѣя, на него нападшаго, можетъ безчувственнымъ столбомъ во едино мгновеніе сотворить. Одначе, не совсѣмъ такъ вышло.

— Нѣту?—спросилъ басъ съ полатей.

— Нѣтъ, — съ грустью въ голосѣ отвѣтилъ говорившій. — Все сказано, — и что съ некрещеными младенцами будетъ, какъ они на особое нѣкое преселены будетъ мѣсто, гдѣ нижé утѣшенія, нижé муку потерпятъ, и куда душа сряду по смерти идетъ, и какъ себѣ братана сотворить, крестомъ обмѣнявшись, — а этого нѣтъ. Надо полагать, не можетъ быть такой молитвы!..

VIII.

Слышно было, какъ разсказчикъ вздохнулъ, точно жалѣя о томъ, что есть предѣлъ и чуду молитвы. Или мнѣ

показалось, или въ самомъ дѣлѣ точно тихій вздохъ пронесся и надъ всѣми остальными. Разсказчикъ передохнулъ и продолжалъ:

— Такъ вотъ, отцы и благодѣтели, думаю, что ежели бы по сему требнику молитвы прочесть,—сняло бы навожденіе. Но гдѣ-жъ его добудешь, коли, можетъ, онъ только въ городѣ Санктъ-Петербургѣ, въ Государя Императора публичной библіотекѣ, какъ нѣкое многоцѣнное сокровище, храниться? По маломъ времени, однако, перестали звонки. Но такъ скажу, что и по семъ бывшее не лучше вышло. Это уже въ мою бытность произошло, и нѣчто здѣсь и мое око видѣло.

Только что человѣкъ покой обрѣлъ, приходитъ къ нему разъ жена и говоритъ: «Посмотри-ка, говоритъ, что-то съ нашимъ малымъ сыномъ неладное дѣлается. Ночей, говоритъ, малецъ не спитъ». А ребенокъ несмышленочекъ, по первому году шелъ и даже еще и младенческихъ словъ не говорилъ. Стали за нимъ примѣчать,—что за напасть! Днемъ малое дитя на часъ-другой забудется, а какъ ночь,—лежитъ, глазки открыты. Подойдешь къ нему, кроткой улыбнется улыбкой и опять въ молчаніи въ потолокъ смотритъ. Думали поначалу, — нездоровъ, но все у него чинъ чиномъ, не плачетъ, не жалуется, не охаетъ. Токмо таетъ съ каждымъ днемъ, что деревцо малое раненое, такъ что смотрѣть силы нѣту. Смучилась мать, потому отъ жалости и сама она всю ночь подлѣ сидитъ и маетой мается, а днемъ слезы льетъ да людямъ печалится. И отецъ извелся.

Бывалые люди говорятъ: «не иначе, какъ кто сглазилъ», а ужъ отцу съ матерью давно то ясно, и кто спортилъ, вѣдомо. Какова же, христолюбцы, можетъ быть злоба человѣческая! Пускай бы на врага своего порчу навелъ, а за что же малолѣтнее дитя страдальчествуетъ?

Маковымъ сѣменемъ его поили, отъ фельдшера спящихъ порошковъ брали, — не спитъ малое дитя. Какъ былъ я у нихъ близкимъ человѣкомъ, показали мнѣ младенца. По-

смотри, говорятъ, Федоръ,—это я Федоръ-то. Посмотрѣлъ и чуть самъ не восплакалъ. Исхудало дитя, какъ былиночка, а глаза такіе большіе, что у взрослаго, потому много онъ уже въ безсонныя ночи своей ангельской думы передумалъ. Спортили человѣка ни за грошъ, ни за копѣйку!

IX.

— Долго такъ было, только разъ пріѣхалъ къ моему хозяину изъ пригорода шерстобитъ.

— Это, говоритъ, не иначе, какъ сглазъ, и дѣло это плевое, только надо вамъ одного знакомаго татарина позвать. Такая ему сила дадена, чтобы порчу сымать и зубную скорбь заговаривать.

Самъ я, милостивцы и благодѣтели, за этимъ татариномъ ѣздилъ,—недалече подъ Касимовымъ жилъ. Татаринъ, какъ татаринъ. Голова бритая и въ ермолкѣ, лицомъ скуластъ, на слова вельми не щедръ. Жилъ въ конурѣ невеликой, а кормился куплей да продажей старья разнаго. Спрашиваю его, можетъ ли помочь. «Я, говоритъ, напередъ этого сказать не могу, а Богъ не безъ милости живетъ, — поѣдемъ.» Поѣхали. Всю дорогу почти молчкомъ ѣхали. Онъ про свое думаетъ, а я про то, какъ это всякій человѣкъ своимъ богомъ живетъ, и ладно выходитъ.

Какъ пріѣхали, посмотрѣлъ онъ младенца, чаю съ хозяевами испилъ. Потомъ проситъ его одного въ комнатѣ оставить. «Мнѣ, говоритъ, теперь помолиться надо». Будемъ такъ говорить, недолго молился,—всего какихъ-нибудь минутъ пять. «Дайте мнѣ,—говоритъ, — теперь ножикъ». Переглянулись, одначе, дали ему. «Покажите мнѣ, — говоритъ,—на чемъ ваше дите спитъ». Взялъ его тюфячокъ, прорѣзалъ, запустилъ туда руку. Смотримъ, — ухмыляется. «Вотъ оно, говоритъ!» И смотримъ, — у него въ рукахъ клокъ рыжей нѣкой шерсти, какъ ежели бы отъ пса кудластаго. «Оно, — говоритъ,—самое и есть. Затопите,—гово-

ритъ, — печку», и, какъ только полѣно загорѣлось, своей рукой этотъ клокъ въ огонь бросилъ. «Ну, — говоритъ, — теперь съ Богомъ, живите да не тужите, а коли занадобится старую шубу продать, али новую шапку купить, такъ и меня не забывайте. А дитё больше молокомъ пойте».

Что жъ бы вы думали, Христовы любимцы? Съ той самой ночи сталъ младенецъ спать за троихъ, недѣльки черезъ двѣ тощенькія щеки заалѣли, а теперича прешустрый изъ него мальченка вышелъ и прездоровый, да, правду сказать, и не въ кого ему хворымъ быть. Вся семья надиво здоровая...

X.

Я ясно помню весь разсказъ до этого мгновенья, но уже за спиной моей стоялъ сонъ, вырывающій дѣйствительность изъ сознанія людей, какъ вырываетъ человѣкъ листы изъ книги.

Я заснулъ вдругъ и сладко, какъ только замолкъ журчащій голосокъ разсказчика, и спалъ такъ, сидя, упершись спиною въ уголъ, цѣлыхъ три часа, пока на безшумныхъ крыльяхъ летѣла надъ степью черная ночь.

Очнувшись, я увидѣлъ передъ собою возницу. Онъ говорилъ, что лошади отдохнули, уже пятый часъ утра, и пора ѣхать.

Фельдшеръ стоялъ на крыльцѣ съ полотенцемъ, очевидно, только-что вымывшійся, потягивался со сна и почесывалъ подъ мышкой. Степь, освѣженная ночью, казалась необыкновенно тихой, чистой и святой. Вѣтеръ ночи свѣялъ съ нея весь пыльный слѣдъ человѣка.

Благообразный, ветхозавѣтнаго склада старичекъ въ изношенной, но чистой рубахѣ и портахъ показывалъ фельдшеру на чернѣвшій вдалекѣ лѣсъ и говорилъ:

— И лѣсъ у насъ, ваша милость, особенный. Въ немъ

еще медвѣдь не перевелся. Завѣтъ такой положилъ батюшка: не бить звѣря въ евонномъ лѣсу. И не бьютъ его. И такъ скажемъ, что не слыхать что-то, чтобы и медвѣдь кого тронулъ. Тридцать лѣтъ здѣсь живу,—не слыхалъ. Потому, хошь онъ и звѣрь, а чувствуетъ...

Я залѣзъ за фельдшеромъ въ кибитку, и мы тронулись, съ каждой минутой приближаясь къ тому завѣтному уголку, который всѣмъ здѣсь казался ближе къ небу, и къ которому влеклись сердца всѣхъ, въ земной тоскѣ взалкавшихъ свѣтлаго божьяго чуда.

ФЕНИКСЪ.

(Изъ книги «Мистическихъ разсказовъ»).

..Птица Фениксъ одногнѣздница есть, не имѣетъ ни подружія своего, ни чадъ. И егда состарѣется, взлетитъ на высоту и взимаетъ огня небеснаго, и зажигаетъ гнѣздо свое и ту сама сгараетъ. Но и паки въ пепелѣ гнѣзда своего нарождается,—той же нравъ, тожде естество имать...

I.

Матица Златая, о птицѣ Фениксъ.

Кто-то сказалъ:

— А вы слышали о возродившемся Каліостро?

И такъ какъ нѣкоторые не слышали, то говорившій продолжалъ:

— Сейчасъ объ этомъ кричитъ весь Нью-Іоркъ, и газеты тамъ полны этой новостью, какъ у насъ скандаломъ въ думѣ. Почти трудно вѣрить, что это тотъ холодный, практичный, чуждый мистики Нью-Іоркъ, какой мы знаемъ. Все это изъ-за того, что тамъ появился человѣкъ, который называетъ себя знаменитымъ именемъ Каліостро. Какъ вы знаете, этотъ странный человѣкъ—или, если угодно, великолѣпный шарлатанъ,—увѣрялъ, что онъ жилъ въ прошлыхъ вѣкахъ и будетъ жить въ будущихъ. Онъ говорилъ, что при немъ фараоны строили пирамиды, и будто бы онъ помнилъ праздники Нерона. Характерно, что новый Каліостро внѣшне похожъ на того, перваго. На рукѣ онъ показываетъ морщины, образующія латинское Д. Можно припомнить, что Каліостро увѣрялъ, будто это боровшійся съ нимъ дьяволъ

оставилъ на его рукѣ иниціалъ своего имени — Diabolus. Какъ у того Каліостро, у этого на лѣвомъ плечѣ большое родимое пятно въ формѣ черепа. Родинки, господа, не поддаются поддѣлкѣ. Какъ тотъ, онъ выдаетъ себя за цѣлителя и чудотворца, и молва, дѣйствительно, уже приписываетъ ему кучу исцѣленій. Не въ примѣръ первому Каліостро, новый графъ Фениксъ не беретъ ничего за свои чудеса, даже не останавливается въ гостиницахъ и частныхъ домахъ, но живетъ въ палаткѣ, въ полѣ. Когда отъ него потребовали удостовѣренія его имени, онъ предложилъ самой безупречной подлинности пергаментный свитокъ, скрѣпленный печатью и подписью Людовика XV-го и выданный Джузеппе Бальзамо, по прозвищу Каліостро. Тутъ же подтвердились и его «особыя примѣты». У насъ бы его все-таки выслали куда-нибудь подальше, но тамъ полицейская власть къ нему безразлична, потому что онъ—«ничѣмъ не нарушаетъ законовъ страны».

II.

— Если здѣсь что-нибудь удивительно,—сказалъ хозяинъ дома,—то только мѣсто дѣйствія. Это неожиданно и необыкновенно для Америки. Наоборотъ, это было бы вполнѣ въ порядкѣ вещей въ Петербургѣ и Москвѣ, Мюнхенѣ или Женевѣ. У насъ необыкновенно любятъ чудо и готовы принять любого сыщика за юродиваго, у нѣмцевъ же еще по сейчасъ много шиллеровскаго идеализма, и я самъ видѣлъ на ихъ улицахъ людей, гуляющихъ въ нарядѣ Христа и проповѣдующихъ вегетаріанство. Лично мнѣ эта психологія новаго Каліостро кажется такой простой. Случайно среди хлама въ лавкѣ стараго букиниста онъ находитъ какой-то документъ позапрошлаго вѣка. У предпріимчиваго янки мелькаетъ капризная мысль. Это цѣнный документъ на любителя, но цѣною его даже у господъ любителей не сошьешь шубы. По темпераменту онъ—урожденный авантюристъ,

и ему предносится планъ красивой мистификаціи, которая можетъ дать ему не только умственное развлеченіе, а и самое настоящее золото. Это ничего, господа, что онъ «не беретъ»,—онъ будетъ брать. Умному шулеру всегда выгодно уступить первыя партіи. При нынѣшней хирургіи, передѣлывающей курносые носы въ греческіе и подставляющей безногимъ стальныя ноги, что за хитрость создать на рукѣ искусственное скрещеніе морщинъ или родинку на плечѣ. И потомъ «родинка въ видѣ черепа». Одно и то же облако можетъ сразу казаться похожимъ на верблюда, хорька и кита. Кто видѣлъ родимое пятно того, стараго Каліостро, и какая родинка не похожа на черепъ?

III.

— Вы сводите случай къ голой мистификаціи,—сказалъ отставной профессоръ.—Вѣроятно, даже почти несомнѣнно, это такъ и есть сейчасъ, тамъ, въ Нью-Іоркѣ. Но, знаете, этотъ вопросъ о человѣческихъ двойникахъ,—не о галлюцинаціяхъ, которыя видятъ нѣкоторые разстроившіеся субъекты,—а о подлинныхъ, страшно похожихъ на васъ людяхъ, иногда съ физическимъ сходствомъ соединяющихъ и какой-то внутренній, духовный параллелизмъ,—онъ не такой пустой простой и безынтересный. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, работая надъ сочиненіями и біографіей извѣстнаго малороса-философа Сковороды, я былъ удивленъ одной странной частностью его жизни. Весь вообще онъ, какъ вы знаете, былъ какой-то странный. Ходилъ всю жизнь отъ помѣщика къ помѣщику съ одной свиткой, посохомъ и библіей подъ мышкой, постояннаго пристанища не заводилъ, денегъ не держалъ. Чуточку, кажется, подражалъ ему нашъ покойный Владиміръ Соловьевъ, ютившійся по друзьямъ или гостиницамъ, хотя, правда, и столь недурнымъ, какъ «Hôtel d'Angleterre». Но и духовно Сковорода былъ страннѣе. Жилъ въ области какихъ-то мистическихъ предощущеній и под-

сказовъ, вѣрилъ какому-то своему генію. Разъ услышалъ въ Кіевѣ, на Подолѣ, какой-то трупный запахъ и заторопился сейчасъ же уйти изъ Кіева. Ушелъ, а тамъ черезъ три дня открылась чума, которая такъ и пошла косить городъ...

— Но, позволь,—сказалъ его братъ, старый чиновникъ въ чинахъ,—при чемъ, собственно, тутъ двойникъ?

— Сейчасъ будетъ,—успокоилъ профессоръ.—Несмотря на тогдашнее отсутствіе путей, Сковорода сумѣлъ побывать за границей. И вотъ разъ, въ Лозаннѣ, онъ встрѣтилъ страннаго человѣка, по имени Даніилъ Мейнгардъ. Это былъ второй Сковорода,—совершенно похожій на него внѣшне и изумительно, до чудесности отразившій всѣ его умственныя стремленія и все нравственное міросозерцаніе. Сковорода былъ ошеломленъ. Онъ сошелся съ Мейнгардомъ до горячей дружбы, почти до братства. Какая-то мистическая догадка въ немъ реализовалась съ этой поры и, съ минуты возвращенія, подъ всѣми своими письмами онъ сталъ подписываться:

— Григорій варъ (сынъ) Савва Сковорода Даніилъ Мейнгардъ.

IV.

— Если ты кончилъ,—сказалъ его братъ, чиновникъ,—то я подѣлюсь страннымъ фактомъ, имѣвшимъ отношеніе ко мнѣ. Въ извѣстную пору жизни, какъ мнѣ кажется, большинство людей узнаетъ странную новость, что у нихъ есть двойникъ. Есть кто-то странно похожій на насъ, иногда вносящій въ вашу жизнь нѣкоторую путаницу. Нѣсколько лѣтъ назадъ я замѣтилъ, что какъ-то особенно часто мои знакомые пеняютъ мнѣ, что я не отвѣчаю на ихъ поклоны. Почти всегда оказывалось, что я не былъ тамъ, гдѣ меня видѣли, но фактъ отстаивали такъ рѣшительно, что становилось почти неловко.

— Какъ-то разъ я проходилъ мимо одного зданія въ Петербургѣ, на Невскомъ, у воротъ котораго стоятъ двое часовыхъ. Когда я поровнялся съ ними, они сдѣлали мнѣ на караулъ. Я оглянулся. Никто военный не шелъ и не ѣхалъ. Улица и троттуаръ были пусты. Уже намѣренно я черезъ нѣсколько минутъ вернулся и снова прошелъ мимо,—и снова мнѣ отдали честь. Не было сомнѣнія, что солдаты привѣтствовали именно меня. Но кто я былъ для нихъ? Какой-нибудь управляющій зданіемъ? Переодѣвшійся въ статское полковникъ? Крупный агентъ сыскной полиціи? Все, что угодно,—только не я самъ,—никогда не видавшій ихъ и не имѣвшій доступа въ ворота, которыя они оберегали.

Съ ясностью, не оставляющей мѣста ни для какого сомнѣнія, я почувствовалъ, что на свѣтѣ и вотъ тутъ, въ Петербургѣ, рядомъ со мною, живетъ и ходитъ по этимъ же улицамъ, мимо этихъ же солдатъ, мимо моихъ знакомыхъ кто-то поразительно похожій на меня, мой двойникъ. Черезъ день мнѣ пришлось снова проходить здѣсь съ знакомой дамой. За нѣсколько шаговъ до воротъ я сказалъ ей:

— Сейчасъ часовые отдадутъ мнѣ честь. Замѣтьте,—военныхъ никого нѣтъ.

Она засмѣялась моей «шуткѣ», но когда два ружья въ заученномъ движеніи звучно лязгнули въ солдатскихъ рукахъ о ременныя пряжки, она посмотрѣла на меня съ серьезнымъ недоумѣніемъ.

— Мнѣ бы слѣдовало узнать, увидѣть мой двойникъ. Любой на моемъ мѣстѣ сдѣлалъ бы это. Любопытно, какъ бы я,—я самъ,—почувствовалъ это сходство. Прежде всего показалось ли бы оно мнѣ поразительнымъ. А дальше, что, если въ такихъ случаяхъ человѣкъ чувствуетъ глубокое отвращеніе, увидя въ другомъ то, съ чѣмъ онъ примирился въ себѣ? Но, вѣрите ли, у меня не хватило духу. Конечно, тутъ не было и тѣни мистическаго страха. Я боялся просто какого-нибудь ошеломляющаго пассажа, какой-нибудь гнус-

ной новости. Въ самомъ дѣлѣ, мой «другой я» могъ оказаться кѣмъ угодно, вплоть до офиціальнаго Шерлока. Я просто сталъ намѣренно предпочитать другую сторону улицы. Потомъ мнѣ пришлось надолго уѣхать изъ Петербурга. Теперь мнѣ никто не отдаетъ тамъ чести. И до сихъ поръ я не узналъ, въ чемъ было дѣло...

V.

— Прошу слова и я,—сказалъ хранившій молчаніе старый господинъ, знакомый большинству подъ именемъ помѣщика изъ Сибири.—Въ моей жизни мнѣ разъ пришлось наткнуться на болѣе яркую странность. Да, это большая рѣдкость—человѣческое сходство до деталей. Природа любитъ разнообразіе, и на двухъ огромныхъ деревьяхъ не найти двухъ совершенно одинаковыхъ листьевъ. Можно перебить горы стекла и не подыскать двухъ совершенно совпадающихъ осколковъ. Вотъ подите же, — а въ мірѣ человѣческихъ единицъ это возможно. Но то, что вы говорите, все-таки не идетъ дальше простого физическаго сходства. Двѣ сходныя матери на разныхъ концахъ города или государства, въ силу какихъ-то равныхъ условій, однородности мужей, сходства физическаго сложенія и т. д., производятъ на свѣтъ сыновей почти близнецовъ. Въ концѣ концовъ, это просто, какъ физическій законъ. Но что вы скажете о передачѣ одному человѣку чертъ и особенностей другого—изъ другого поколѣнія, чуть ли не изъ другого столѣтія?

— Вамъ это довелось видѣть?

— Да, и если вамъ не наскучитъ, разскажу какъ. Только надо начать немножко издалека—то есть, такъ-таки почти съ впечатлѣній дѣтства.

— Просимъ,—сказали мы.

VI.

— Отъ моего дѣда мнѣ по наслѣдству перешли записки. Старику нечего было дѣлать, онъ былъ богатый помѣщикъ и, сидя въ своемъ старомъ домѣ на Петербургской, день за днемъ записывалъ въ толстую конторскую книгу, которая вмѣстѣ была и расходной, все, чему свидѣтель въ жизни былъ.

Много пустяковъ, мелочей, потерявшихъ смыслъ и интересъ, но кой-гдѣ любопытныя блестки. Чудно, напримѣръ, читать, что было время, когда чудесная паюсная икра въ Питерѣ стоила 40 коп. фунтъ. Но это между прочимъ. Къ дѣлу относятся только помѣтки дѣда о посѣщеніяхъ его страннымъ человѣкомъ, нѣкимъ Данилой Матвѣевичемъ!

Это былъ по роду занятій художникъ, а по роли, какая ему выпадаетъ на всемъ протяженіи дневника,—что-то въ родѣ не то фамильнаго доктора, не то астролога, какіе жили въ старину при дворахъ феодаловъ. Совершенно маловѣроятный для Россіи типъ.

Самое знакомство съ нимъ началось съ того, что онъ пришелъ къ дѣду незваный и предупредилъ его не ѣздить въ извѣстный день въ банкъ. Дѣдъ послушался и послалъ кого-то вмѣсто себя. Дорогой лошади понесли и расшибли бричку и этого посланнаго едва ли не на смерть.

Съ этого времени дѣдъ почувствовалъ къ Данилѣ Матвѣичу что-то въ родѣ благодарности, смѣшанной съ какимъ-то суевѣрнымъ чувствомъ. Данила Матвѣичъ недурно ловилъ портретное сходство и, чтобы дать ему заработокъ,—ибо онъ былъ гордъ и никогда не пошелъ-бы на положеніе приживала,—ему поручили писать чуть не всю семейную галлерею. Для церкви онъ писалъ картины,—иконъ не писалъ, въ родѣ какъ бы изъ принципа.

Сохранилось въ памяти, что, по манерѣ старыхъ мастеровъ, любилъ онъ зарисовывать на этихъ картинахъ иногда живыхъ людей. Но не только объ людяхъ этихъ забыли,

но и картинъ, имъ написанныхъ, я не видѣлъ. Кромѣ, впрочемъ, одной. О ней рѣчь впереди.

VII.

Еще было достоинство у Данилы Матвѣича—онъ умѣлъ «пользовать». Что-то онъ клалъ на зубы, давалъ настой противъ ревматизма, сбившихся со сна угощалъ какими-то порошками, отъ которыхъ человѣкъ впадалъ въ сонный запой, или, какъ онъ выражался,—сквознякъ, т. е. могъ проспать аккуратнымъ манеромъ сутки, отъ полдня до слѣдующаго полдня.

Дѣда моего онъ какъ-то счастливо и съ мѣста излѣчилъ отъ страшныхъ головныхъ болей, посовѣтовавши ему открыть на рукѣ фонтанель, — тогда это входило въ моду. Дѣдъ послушался, и его боли точно рукой сняло.

На чемъ Данила Матвѣичъ былъ помѣшанъ, — это на чеснокѣ. Всегда у него съ собой въ карманѣ было нѣсколько его головокъ, и онъ ихъ раздавалъ направо и налѣво, выдавая чуть не за панацею. Какъ-то онъ примѣнялъ сюда сказаніе библіи про фараона, который запретилъ евреямъ ѣсть чеснокъ,—«это-де нашъ египетскій богъ». На самомъ дѣлѣ, фараонъ-де просто хотѣлъ обезсилить націю, ибо чеснокъ укрѣпляетъ память, усиливаетъ энергію и т. д.

Теперь мы знаемъ, что въ чеснокѣ много мышьяку, и въ этомъ весь секретъ его полезности. Тогда, конечно, въ этомъ не отдавали отчета, и всѣ этому много дивились, а чеснокъ чуднаго старикашки считали наговореннымъ.

VIII.

Все это я узналъ потомъ изъ разсказовъ отца, который въ дѣтствѣ еще зналъ Данилу Матвѣича, хотя фамиліи его уже не запомнилъ. Въ записяхъ дѣда о немъ говорилось все отрывочное и все чудное:

...«Заходилъ пить чай Данила Матвѣичъ. Несъ что-то про кометы непонятное...

...«Отличился Данила Матвѣичъ. Сбѣсившуюся собаку «Бонапарта», что двоихъ искусала, сгребъ въ охапку и затопилъ въ пруду. Песъ былъ, яко бѣсъ, а онъ его взялъ, какъ котенка»...

...«Написалъ Данила Матвѣичъ въ притворъ церковный ангела, который во всѣ стороны глядитъ, смотря гдѣ станешь. Влѣво—онъ налѣво глаза скосилъ. Вправо—и онъ вправо. И фасомъ смотритъ прямо на смотрящаго»...

...«Данила Матвѣичъ на три дня уходилъ въ лѣсъ,—тамъ испалъ. Говоритъ: «Ввергнулъ дьявола въ преисподнюю».—

...«Въ прошлый четвертокъ, сидя у меня, Данила Матвѣичъ сказывалъ, что видѣлъ во снѣ, будто въ створку царскихъ вратъ проросла плакунъ-трава, а свѣчи передъ иконами тянутъ дымомъ. Вчера же, 23-го мая, старая церковь, волею Божьею сгорѣла»...

И такъ далѣе, все въ такомъ родѣ. Всего не вспомню. Но все было такое «странное». Данила Матвѣичъ не ѣлъ ни рыбы, ни мяса. Иногда возьметъ, да цѣлый день молчитъ. Всегда уходилъ неожиданно, точно пропадалъ, и приходилъ снова, не предваряя и ничего не разсказывая. Порой дня на два опредѣлялъ себя на діэту и не ѣлъ совсѣмъ ничего, только отпивался холодной водой. Предпочиталъ онъ быть въ людской, но спать могъ только въ одиночествѣ, и ему отводилась тихая свѣтелка наверху, гдѣ на столѣ у него лежала всегда раскрытая толстая славянская Библія и громоздкая записная книжища, наполовину уже занятая какими-то его выписками.

Тутъ же онъ раскладывалъ свои краски и самодѣльный мольбертъ и, если было дѣло, писалъ. Однажды написалъ себя, но и тутъ изрядно соригинальничалъ: портретъ, гдѣ онъ былъ изображенъ почти въ профиль (писалъ онъ, конечно, при помощи зеркала), онъ потомъ положилъ лежа

и подъ головою подрисовалъ подушку съ кистями, а руки скрестилъ, какъ у покойника.

Такъ онъ видѣлъ при жизни, какимъ будетъ лежать въ гробу мертвый и съ заострившимся носомъ. Очевидно, это настраивало его философски. Картина долго висѣла въ его свѣтелкѣ, а потомъ куда-то исчезла. Мой отецъ ее только помнилъ. Я ее уже не видѣлъ.

По счастью, я видѣлъ другое запечатлѣніе тѣлесной оболочки Данилы Матвѣича. Это мнѣ потомъ должно было пригодиться, въ томъ случаѣ, какого я ни за что не могъ предвидѣть...

IX.

Разъ отецъ остановилъ мое вниманіе на старой довольно большой картинѣ въ нашемъ церковномъ притворѣ. Это было изгнаніе торжниковъ изъ храма. Работа была старинная, манерная, такъ сказать, ложноклассическая. Въ фигурѣ Христа, взмахнувшаго бичемъ, помню, я не почувствовалъ ни яркости, ни силы. Старый академическій шаблонъ.

Гораздо характернѣе мнѣ показалась голова одного изгоняемаго. Въ то время, какъ у всѣхъ лица были сдѣланы по обычному живописному трафарету изумленія и страха, это было спокойно, точно попало сюда съ другой картины.

Можетъ быть, потому, что оно одно было здѣсь совершенно закончено, можетъ быть, потому, что въ немъ сразу ясно чувствовалось портретное съ кѣмъ-то сходство,— это лицо, выдвинутое прямо подъ Христовъ бичъ, господствовало надо всѣмъ въ этой темной и закоптѣлой картинѣ. Къ нему тянуло.

Что̀ первое било въ глаза,—это капризные высоко взлетѣвшія брови и глаза такіе, какихъ не увидишь на церковныхъ картинахъ ни у одного святого, ни у одного мытаря. Это былъ явно живой человѣкъ среди фантазій. Голова

была гладко обстрижена, и ясно выдвигались капризныя лобныя выпуклости, которыя почти безобразили бы это лицо, если бы оно не было старческимъ. Сѣдые усы росли тонко и скудно, и сводящееся рѣзко на конусъ лицо переходило въ узкую, худенькую бородку, какую принято называть святительской. Точно застывшая улыбка змѣилась у края губы, и какое-то внимательное, острое, не по старчески чуткое выраженіе глазъ гармонировало съ этой улыбкой.

Весь онъ со своимъ кантовскимъ лбомъ, взмахнувшими по нему бровями и острымъ оваломъ лица шелъ бы въ оригиналъ хорошему актеру, собирающемуся играть лукаваго совѣтника при дворѣ Людовиковъ. Мнѣ вспоминается какой-то портретъ Самойлова въ такомъ родѣ.

На старикѣ было какое-то темное одѣяніе, похожее на тотъ длинный сюртукъ, что сохранился до сихъ поръ на старыхъ евреяхъ черты осѣдлости. Впрочемъ, это все уже уходило въ общую тѣнь, тонуло въ черномъ фонѣ.

Я тогда же узналъ, что это — работа Данилы Матвѣевича, а этотъ старикъ—его автопортретъ. Долго стоялъ я въ задумчивости передъ этой картиной. Этого вѣдь и хотѣлъ онъ, странный самоучка, сохранившійся въ памяти людской въ отсвѣтѣ почти легенды.

Но какая характерная голова! Но какая мысль,—подставить свое лицо подъ ударъ Христовой плети на позорище людямъ въ роды родовъ!..

X.

Бываютъ въ жизни мимолетныя встрѣчи и случайныя впечатлѣнія, какія не забываются.

Такъ я не могъ бы уже забыть Данилу Матвѣевича. О немъ часто вспоминали въ семьѣ, а послѣ этой картины онъ сталъ для меня живымъ лицомъ. Всякій разъ, когда я проходилъ притворомъ, онъ смотрѣлъ на меня, един-

ственно мнѣ интересный и по смерти отца единственно мнѣ извѣстный. Все остальное, конечно, о немъ забыло.

Отецъ, заставшій его въ дѣтствѣ, внесъ въ мое представленіе о немъ немногія черты, но все въ томъ же стилѣ. При немъ Данила Матвѣевичъ былъ уже старъ, почти дряхлъ. Заходилъ онъ все рѣже и рѣже. Писалъ рѣдко и не иначе, какъ при помощи очковъ съ толстѣйшими стеклами. Былъ весь сѣдъ, но брови сохранилъ до смерти черныя, точно крашеныя. Его уважали и почти боялись.

Разъ онъ выстрѣлилъ изъ ружья въ стволъ ивы надъ рѣкой, и ива въ тотъ же годъ засохла.

Въ послѣдніе годы установилась въ домѣ странная примѣта: старикъ приходилъ непремѣнно послѣ чьей-нибудь смерти. Если бы было наоборотъ, и онъ своимъ появленіемъ предвѣщалъ бы смерть,—это было бы жутко.

Точно вызванный телеграммой, онъ пришелъ въ усадьбу, когда дѣдъ лежалъ на столѣ, пріоткрылъ ему вѣко, послалъ монахиню на кухню пить кофе и самъ, ставъ на ея мѣсто, почиталъ часа два псалмы по ея псалтырю.

Умершихъ онъ вспоминалъ умиленно, но ни по комъ не плакалъ. Долго уже въ гостяхъ не засиживался,—все куда-то спѣшилъ. Разъ по веснѣ отъ какой-то странницы узнали, что Данила Матвѣевичъ померъ. Гдѣ и какъ,—никто не помнилъ.

XI.

Уже взрослымъ, уже давно схоронивъ отца, я какъ-то пересѣкалъ Россію почти по діагонали. Усталъ. Захотѣлось вылѣзть изъ вагона, вытянуться, выспаться на чистомъ бѣльѣ и на покойной постели не подъ грохотъ колесъ и безъ толчковъ черезъ каждую минуту.

Въ одномъ небольшомъ промежуточномъ городкѣ у меня былъ знакомый. Я рѣшилъ,—попутно осмотрю городокъ.

Наши русскіе города умѣютъ хвастать либо историче-

скими рукомойниками какого-нибудь Мстиславича, либо подвалами, гдѣ кого-нибудь томили, душили, или казнили. И здѣсь я насмотрѣлся этого вволю и, признаюсь, былъ сытъ.

— Если нѣтъ ничего лучше,—сказалъ я,—покажи мнѣ достопримѣчательность въ человѣческомъ видѣ. Это интереснѣе.

Великихъ людей не было. У заштатнаго секретаря консисторіи былъ «музей самоубійцъ»,—комната, гдѣ онъ за много лѣтъ сохранилъ всѣ орудія и средства самоубійцъ, дѣла которыхъ разсматривалъ. Дьячокъ на Горбушкѣ стравливалъ пѣтуховъ. На окраинѣ жилъ мѣщанинъ, поднимавшій корову и гнувшій подковы. Все это было не въ моемъ вкусѣ.

— Вотъ что,—вспомнилъ мой знакомый.—Не посмотрѣть ли тебѣ Куцыбу?

— Кто же онъ такой и чѣмъ, кромѣ своей фамиліи, замѣчателенъ?

— А это,—говоритъ,—любопытный образчикъ человѣческой породы. Наумъ Куцыба. Это антикъ. Въ старые годы онъ, говорятъ, съ екатеринбургскими купцами драгоцѣнными камнями торговалъ. Теперь у него такъ что-то въ родѣ не то часовой мастерской, не то ювелирной, но, конечно, на провинціальный манеръ. У насъ вѣдь запросто, гдѣ керосинъ продаютъ, тамъ и гробъ сдѣлаютъ. Камешекъ черезъ него можно купить, часы починить можетъ. Но суть не въ этомъ, а въ томъ, что онъ... странный.

— «Хиромантъ съ дозволенія начальства?»... Извини, это неинтересно.

— Нѣтъ,—говоритъ,—не въ томъ дѣло. Онъ, дѣйствительно, пророчитъ, но на руку не смотритъ и за свои пророчества не беретъ ни копѣйки... Разъ пришелъ ночью съ подушкой и одѣяломъ къ сосѣду,—«крысы,—говоритъ,—спать мѣшаютъ»,—а въ эту ночь его домишко разсѣлся и сползъ въ рѣку. Еще онъ лечитъ больныхъ какимъ-то травнымъ бальзамомъ или велитъ человѣку два дня ничего

не ѣсть, одну воду пить,—и, представь,—это фактъ, что помогаетъ. Чудно, но въ нѣкоторые дома онъ приходитъ послѣ долгаго антракта какъ разъ тогда, когда тамъ на столѣ покойникъ. Это замѣчено.

Это переполняло чашу моего любопытства. Заинтересованный, я просилъ поскорѣе показать.

XII.

— Вы угадываете, господа, что вечеромъ я увидѣлъ не Куцыбу, а... Данилу Матвѣевича.

Нельзя угадать только степени моего изумленія, когда я увидѣлъ это сходство часовщика съ тѣмъ, изгоняемымъ изъ храма.

Правда, я уже слишкомъ десять лѣтъ не видѣлъ этой картины. Но—знаете впечатлѣнія дѣтства, они врѣзаются точно и навѣки, какъ первая азбука, какъ лицо няньки...

Когда я увидѣлъ Куцыбу, мнѣ не нужно было даже вспоминать, гдѣ я его видѣлъ. Сходство было такое, что я сразу сказалъ себѣ, г д ѣ. Можетъ быть, тотъ другой, изъ другого вѣка, былъ вовсе не похожъ на себя. Но это былъ портретъ Куцыбы, какою-то игрою кисти предсказанный больше, чѣмъ полвѣкомъ раньше.

Куцыба былъ не выше средняго. Высоко, какъ тамъ, на портретѣ, взметнулись черныя брови. Сквозь худосочную сѣдую бороденку, казалось, просвѣчивало пергаментное тѣло. Было желто безкровное лицо.

Завязанные веревочкой очки онъ сдвинулъ на лобъ, и на меня смотрѣли остренькіе и внимательные, но съ налетомъ жизненнаго утомленія глаза,—к а к ъ т ѣ.

Часовщикъ вышелъ ко мнѣ въ сѣрой рабочей блузѣ, подпоясанный тоненькой бичевочкой. Съ своимъ интернаціональнымъ лицомъ онъ такъ мало шелъ къ русскому провинціальному городку!

Какъ на мѣстѣ онъ былъ бы, напримѣръ, въ Лейпцигѣ,

въ лавочкѣ отдаленнаго квартала, въ роли стараго букиниста, проведшаго весь вѣкъ книжнымъ червемъ среди запыленныхъ переплетовъ!

XIII.

Не буду, господа, передавать нашего разговора. Тутъ дорого общее впечатлѣніе. Вы мнѣ повѣрите, что подъ этимъ впечатлѣніемъ недоумѣніе мое еще болѣе возросло. Право, это была копія Данилы Матвѣича и не только по внѣшности.

Я не могъ подосадовать на того, кто меня послалъ къ нему. Это былъ, дѣйствительно, странный человѣкъ, у котораго своеобразнымъ, сектантски-мистическимъ настроеніемъ окрашивалось все. Надо было послушать его, какъ онъ говорилъ о своихъ алмазахъ, о своихъ паціентахъ!

Во время разговора изъ подъ кровати выползла маленькая собаченка съ перевязанными задними лапками. Куцыба пояснилъ, что подобралъ ее на улицѣ изъ подъ телѣги. Погладилъ ее по самому носу.

— Вы, вѣроятно, не ѣдите мяса?—спросилъ я точно по внезапному наитію.

— Не ѣмъ.

— И рыбы?

— Я ничего не ѣмъ. Никого не убиваю и никого не рождаю.

— А знаете, вы поразительно напоминаете мнѣ одного человѣка...

Онъ слушалъ меня какъ-то равнодушно, когда я говорилъ ему о Данилѣ Матвѣичѣ, разспрашивалъ его о предкахъ. Не удивился. Не спросилъ ни слова. Никакого Данилы Матвѣича въ его родѣ не было. Ни отецъ, ни дѣдъ не жили въ нашихъ мѣстахъ. Только, когда я кончилъ, онъ поднялся и торжественнымъ голосомъ, какъ декламируютъ старики, громко прочелъ точно въ пространство, какъ-то мимо меня:

— Твоей-то правдѣ нужно было,
Чтобъ смертну бездну проходило
Мое безсмертно бытіе,
Чтобъ духъ мой въ смертность облачился,
И черезъ смерть я возвратился,
Отецъ, въ безсмертіе Твое!

— Изъ Гавріила Державина, — благоговѣйно прибавилъ онъ.

XIV.

Департаментъ разсудка говорилъ мнѣ, что не случилось рѣшительно ничего особеннаго, когда я уходилъ отъ Куцыбы.

Произошло нѣчто самое естественное, что разсуждающій человѣкъ долженъ былъ подвести подъ законъ случайнаго совпаденія. Въ міровой гармоніи черезъ много лѣтъ случайно повторилась одна мелодія. Да и такъ ли ужъ буквально повторилась? Вѣдь о томъ, первомъ, я зналъ только по слуху и портрету. И то, и другое могло ошибаться.

Можетъ быть, есть законъ, котораго мы не знаемъ, и который даетъ внѣшнія черты сходства людямъ одной психологіи. Вѣдь не сказано ли давно, что мы къ старости «выслуживаемъ» себѣ лицо? А вѣковая наслѣдственность? Развѣ на лица католическихъ патеровъ исконныя традиціи быта и одна психика не наложили печати поразительнаго сходства. А римскіе патриціи и императоры? А лицо пролетарія всѣхъ странъ? И если черезъ сто лѣтъ явится другой Бисмаркъ по строю души,—кто знаетъ, не будетъ ли у него лицо того Бисмарка, какого знаемъ мы и какого для вѣковъ записалъ Ленбахъ?

Это все я отлично сознавалъ и учитывалъ, но чувство мое было взволновано. Фениксъ, фениксъ! — шепталъ я, возвращаясь къ знакомому и потомъ, всю ночь, слушая громыханье вагона.

И мнѣ казалось, что въ жизни природы, такъ трезво распредѣленной по параграфамъ физикой Краевича и химіей Менделѣева, все-таки есть еще нѣкая тайна духа, переплывающаго «смертну бездну» бытія, которую никакъ не поймать ланцетами, тигелями и ретортами.

ПРИЗРАЧНЫЙ ЧАСЪ.

(ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФАНТАЗІЯ).

I.

Надо начать съ того, что въ тѣ майскіе дни доцентъ Крематорскій чувствовалъ себя явно переутомленнымъ. Въ тотъ день, который завершила памятная для него ночь, онъ поставилъ точку подъ второй частью своего большого изслѣдованія о старомъ Петербургѣ. Психіатръ, который вздумалъ бы разобраться въ этой исторіи, долженъ учесть это обстоятельство, — доцентъ Крематорскій былъ переутомленъ.

Встрѣчавшіеся съ нимъ за послѣднее время находили его похудѣвшимъ и цвѣтъ лица его желтѣе обыкновеннаго. Зажигая папиросу, онъ чувствовалъ, что рука его дрожитъ мелкой жульнической дрожью. Поднявшись въ свою мансарду на Галерной, онъ испытывалъ сердцебіеніе.

Спалъ онъ мало и дурно, и во снѣ мозгъ работалъ, какъ днемъ. Мерещилось, что онъ правитъ корректуры, вычеркиваетъ и вписываетъ и перемѣщаетъ страницы. Это не давало отдыха, и, просыпаясь, онъ не чувствовалъ себя свѣжѣе.

Были уже бѣлыя ночи, когда онъ всегда становился исключительно нервенъ. Въ тотъ вечеръ у него уже было предчувствіе безсонницы. «Надо утомить себя передъ сномъ»,— сказалъ онъ себѣ и закрылъ рукопись.

Часы показывали половину двѣнадцатаго, когда онъ взялъ свою шляпу и трость, накинулъ черную альмавиву, съ обычнымъ сердцебіеніемъ спустился съ высокой лѣстницы и направился на набережную.

II.

Бѣлая ночь залила городъ. Она какъ-то особенно чувствовалась здѣсь, на набережной.

Были необыкновенно четки линіи гранита, окаймившаго Неву, громады академіи художествъ на другой сторонѣ и черной арки подъ Николаевскимъ мостомъ. Нева казалась наполненной застывшей сталью. Не было нигдѣ—ни въ окнахъ домовъ, ни въ фонаряхъ, ни на пароходахъ—ни одного огонька. Въ экипажахъ изрѣдка проѣзжали люди, шли рѣдкіе пѣшеходы. Большею частью это были гуляющія пары—мужчина и женщина.

Но и эти пары, и весь городъ были какъ нарисованныя,—какъ старая дорогая гравюра, изъ тѣхъ, что такъ много пересмотрѣлъ Крематорскій за послѣдній годъ. Его мысль скользнула снова на изслѣдованіе. «Ну, нѣтъ, объ этомъ будетъ!—остановилъ онъ самъ себя.—Надо о другомъ, иначе и сегодняшнюю ночь будутъ мерещиться главы и примѣчанія, корректуры и планы».

Куда шелъ доцентъ,—онъ едва ли отвѣтилъ бы самъ. Вѣроятно, онъ просто хотѣлъ пройтись по набережной. Здѣсь было хорошо и покойно. Отъ Невы шла легкая пріятная свѣжесть. Было тепло, можно было итти безъ пальто. Только когда онъ нечаянно коснулся рукой зданія сената,—онъ почувствовалъ, что камень холоденъ и потенъ.

III.

И хотя онъ только-что далъ себѣ слово не думать объ этомъ, доцентъ вспомнилъ, что это именно то мѣсто, гдѣ нѣкогда гулявшій съ княземъ Куракинымъ императоръ Павелъ встрѣтилъ призракъ своего прадѣда. «Бѣдный Павелъ, бѣдный князь!..» Всѣ подробности разсказа крѣпко держа-

лись въ памяти. Онъ вспомнилъ, какъ царю казалось, будто отъ стѣнъ зданія идетъ холодъ. «Мнѣ казалось, что ноги его, ступая по плитамъ тротуара, производили странный звукъ, какъ-будто камень ударялся о камень...»

Императоръ самъ разсказалъ объ этой встрѣчѣ. Что это было? Жуткій фантазмъ больного мозга или одна изъ тѣхъ намѣренныхъ мистификацій, какія были въ природѣ загадочнаго несчастнаго государя?

Было такъ тихо, что доцентъ слышалъ ритмическое постукиваніе своихъ каблуковъ. Разбитые куранты крѣпости пропѣли разрозненное «Коль славенъ». Крѣпость была далеко, но воздухъ былъ такъ чистъ, прозраченъ и спокоенъ, что, казалось, звуки прозвенѣли тутъ же, близко, только были они тихи и жалобны, точно бросали ихъ летящія надъ головой слабыя подстрѣленныя птицы.

IV.

Вѣроятно, эти звуки, отвлекшіе вниманіе, были причиной, почему доцентъ не могъ дать себѣ отчета въ происшедшемъ въ слѣдующее мгновеніе. Вдругъ и безпричинно имъ овладѣло смутное и почти безпокойное желаніе оглянуться.

Это было то самое чувство, которое иногда заставляетъ человѣка тревожно ждать, что вотъ сейчасъ запрыгаетъ звонокъ, и кто-то уже ждетъ у дверей. И, дѣйствительно, звонокъ звонитъ, и немножко жутко итти къ дверямъ и снимать крючокъ съ петли...

Крематорскій не слышалъ сзади себя ни шаговъ, ни дыханія, но вдругъ всѣмъ существомъ своимъ почувствовалъ, что сзади его,—и совсѣмъ близко,—кто-то есть. Это было тѣмъ страннѣе, что тамъ никого не могло быть. Онъ помнилъ, что никого не обгонялъ. Никто раньше не шелъ за нимъ.

Тогда онъ оглянулся и вздрогнулъ, попавъ глазами прямо

въ сухое пергаментное лицо невысокаго сгорбленнаго старика въ старообразной, порыжевшей крылаткѣ съ капюшономъ.

Все въ старикѣ было такъ необыкновенно, такъ не похоже на всѣхъ, что, разъ встрѣтивъ, его нельзя было забыть. И доцентъ вспомнилъ, что разъ онъ уже видѣлъ его. Онъ встрѣтилъ его на какой-то большой улицѣ, въ синемъ вечернемъ сумракѣ. Его вниманіе привлекла странная, точно изъ другого вѣка, фигура на срединѣ проспекта.

Что-то до такой степени старообразное, ветхое, мертвенное было въ этомъ старикѣ, до такой степени несогласимое съ этими несущимися передъ нимъ экипажами, что нельзя было не остановиться и не засмотрѣться.

V.

Пергаментный старикъ стоялъ, уткнувъ палку въ землю, точно окаменѣвшій или застигнутый столбнякомъ. Весь онъ былъ точно старый жухлый грибъ на свѣжей полянѣ. Имъ можно было иллюстрировать романы Булгарина. Кучера кричали ему. Одинъ рысакъ осадилъ прямо передъ нимъ и объѣхалъ его, какъ объѣзжаютъ тумбу.

Но старикъ все стоялъ и, не въ силахъ преодолѣть любопытства, Крематорскій пошелъ черезъ улицу, нарочно, чтобы пройти мимо него. На него взглянули тусклые, растерянные глаза. Старикъ что-то проскрипѣлъ. Доцентъ едва разобралъ просьбу помочь перейти на другую сторону. Онъ взялъ его за руку и вздрогнулъ,—она была холодна, какъ рука мертваго. Можетъ быть, старику не повиновались ноги? Можетъ быть, у него была боязнь пространства?

Откуда онъ взялся теперь,—не изъ этой же холодной, сѣрой стѣны сената! Безцвѣтные глаза, какъ тогда, глядѣли на доцента, и трудно было понять ихъ выраженіе. Можетъ быть, это былъ нищій, и глаза просили копѣйки? Доцентъ не былъ богатъ, но у него было обыкновеніе раз-

брасывать нищимъ всю мѣдь, какая скапливалась въ карманѣ. Около церковной паперти онъ, безъ сомнѣнія, удѣлилъ бы этой человѣческой ветоши горсточку алтыновъ.

Но старость убила всякую выразительность лица старика. Крематорскій рѣшилъ подождать съ благотворительностью. И это было хорошо. Ибо черезъ минуту старикъ коснулся козырька своего картуза, и доцентъ услышалъ надъ своимъ ухомъ довольно твердый голосъ, какимъ говоритъ равный съ равнымъ:

— Прекрасная ночь!

VI.

— Прекрасная ночь,—повторилъ молодой человѣкъ и, улыбаясь, повернулся къ старику.—Но скажите, откуда вы... взялись?

— Стоялъ въ углу,—старикъ кивнулъ головой на стѣну,—не изволили замѣтить. Стоялъ и смотрѣлъ. Великолѣпный городъ, милостивый государь! Сколь многіе въ немъ живутъ,—старикъ выразительно поднялъ кверху палецъ,—и сколь немногіе его чувствуютъ! Волшебная ночь, а они спятъ, какъ сурки, и не лучше ли было имъ жить гдѣ-нибудь въ Кинешмѣ?

Было странно, но онъ выражалъ мысли доцента, все настойчивѣе слагавшіяся въ немъ по мѣрѣ того, какъ онъ все глубже и глубже уходилъ въ красивый сумракъ петербурской старины. Въ этомъ каменномъ, холодномъ, стройномъ городѣ,—мистическомъ городѣ сѣрыхъ тумановъ и бѣлыхъ ночей, онъ чувствовалъ то обаяніе, какое классикъ испытываетъ, когда его нога касается стертыхъ плитъ священнаго Рима.

— Я замѣтилъ,—продолжалъ старикъ,—какъ вы слушали звонъ старыхъ курантовъ. И я сказалъ себѣ,—этотъ человѣкъ понимаетъ! Онъ вышелъ гулять въ эту пору потому, что нѣтъ другого часа, когда Петербургъ такъ

прекрасенъ. Посмотрите, весь городъ точно залитъ застывшимъ стекломъ! Какъ тонки и ясны шпицы,—на нихъ была бы видна приставшая соринка! Нѣтъ возможности наслаждаться этимъ молча, но... но, милостивый государь, можетъ быть, я вамъ мѣшаю?

VII.

Доцентъ отвергъ предположеніе и совершенно искренно. Онъ раздѣлялъ энтузіазмъ этого ветхаго старикашки, сохранившаго такую молодую душу. А старикъ продолжалъ:

— Не кажется ли вамъ, что въ этотъ часъ мертвѣетъ все живое и оживаетъ мертвое? Можетъ быть, сейчасъ Суворовъ сошелъ со своего пьедестала у Мраморнаго дворца и тяжелымъ шагомъ ходитъ по Марсову полю, а ангелъ на Александровской колоннѣ, съ лицомъ Александра, расправляетъ усталыя крылья. Посмотрите,—мнѣ кажется у мѣднаго Петра должна кружиться голова, такъ онъ высоко вознесся на скалѣ, и такъ тихъ воздухъ. Или это у меня кружится голова? И не все ли такъ застыло и окаменѣло сейчасъ въ этомъ бѣломъ городѣ, какъ этотъ всадникъ, который весь движеніе и, однако, весь неподвиженъ! Такъ призрачно все кругомъ, и, ужъ полно, живемъ ли мы съ вами?

— Удивительно,—сказалъ доцентъ, чувствуя, что имъ овладѣваетъ странное волненіе и болѣзненный, захватывающій интересъ къ случайному спутнику,—сейчасъ, передъ вами, я думалъ эти самыя мысли! Видите ли, я немножко заработался...

Старикъ медлительно вынулъ старинную, дорогую табакерку съ эмалью и методически поднесъ табакъ къ носу. Онъ гулко щелкнулъ крышкой и, не предложивъ спутнику, спряталъ ее въ карманъ.

— Можетъ быть, не показалось бы страннымъ,—продолжалъ онъ съ какою-то торжественной раздѣльностью,—

если бы въ такую бѣлую ночь черезъ Невскій, по направленію къ Таврическому дворцу промчался Потемкинъ, а то такъ и сама «Великая» въ громадной, золотой каретѣ цугомъ. Не засидѣлся ли гдѣ-нибудь въ тавернѣ Ломоносовъ, и вонъ въ томъ экипажѣ, не ѣдутъ ли четверо офицеровъ лейбъ-кампанцевъ въ Красный кабачекъ скоротать остатокъ ночи? Не самъ ли то графъ Аракчеевъ спѣшитъ въ свое Грузино, а тамъ у окна Зимняго дворца остался въ задумчивости Александръ? Вы хотите сказать, что я путаю хронологію, но развѣ обязательна хронологія для петербургской бѣлой ночи, и, въ концѣ концовъ, что такое Время?..

VIII.

«Кто онъ»?—спрашивалъ себя Крематорскій, еще и еще разъ кося глаза на своего спутника. Уже, приспособляясь къ нему, онъ замедлилъ шагъ и шелъ въ ногу со старикомъ, сѣменившимъ мелкими невѣрными шагами.

Изъ-подъ старообразнаго картуза, съ длиннымъ козырькомъ доценту были видны обтянувшійся тонкій носъ, землистыя бритыя щеки съ толстыми губами и уже иные глаза. Теперь въ нихъ свѣтился усталый умъ, можетъ быть, талантъ. Доцентъ поймалъ себя на шальной мысли. Онъ точно подыскивалъ въ своей памяти то историческое лицо, на которое бы походило это. Но мысль сверкнула и угасла. Это было просто стильное, старинное лицо знакомаго типа,—лицо со стараго портрета поры Боровиковскаго.

Кто онъ?—старый, отошедшій въ сторону профессоръ, антикваръ-любитель, слѣпой кротъ, проводящій дни среди старыхъ гравюръ и обгрызанныхъ мышами пожелтѣлыхъ книжекъ? Но доцентъ зналъ всю профессуру и имѣлъ дѣло со всѣми антикваріями.

— Вы говорите такъ, точно видѣли и лейбъ-кампанцевъ и самое «Великую»,—сказалъ доцентъ.—Сколько можетъ быть вамъ лѣтъ?

— А что если бы и видѣлъ?—точно поддразнивая, сказалъ тотъ.—Развѣ вся сегодняшняя ночь не сонъ? На Исаакія, на Адмиралтейство, на эту громаду (онъ кивнулъ головой на Зимній дворецъ) надо было бы посадить химеръ,—онѣ такъ шли бы этому химеричному городу. Посмотрите, вонъ туда, направо. Невскій полонъ пѣшеходовъ, но почему вы думаете, что это все подлинные, живые люди? Можетъ, половина ихъ призраки. Спросите у нихъ паспорта,—многіе ли предъявятъ ихъ? Вы думаете, что мертвымъ слаще всего ихъ мертвый сонъ? Неужели имъ не хочется посмотрѣть милую, теплую, грѣшную землю, вмѣшаться снова въ толпу живыхъ въ фантастическую ночь, когда ихъ не замѣтятъ люди? И можетъ быть, имъ дается эта таинственная власть надъ смертью въ такія ночи. По крайней мѣрѣ, откуда здѣсь взялись эти ветхіе старики? Не странно ли видѣть ихъ здѣсь въ этотъ часъ. А на нѣкоторыхъ изъ проститутокъ не замѣчаете ли вы старыхъ модъ прошлаго вѣка?

IX.

Подъ причудливымъ, фантастическимъ подсказомъ доцентъ вглядѣлся въ встрѣчныхъ и, странно, шляпки нѣкоторыхъ женщинъ и каска офицера показались ему, въ самомъ дѣлѣ, черезчуръ старомодными. Въ случайно брошенной мысли была тѣнь какой-то отдаленной возможности, при которой было интересно и страшно жить.

— Можетъ быть, эти проститутки уже давно безгрѣшны,—продолжалъ старикъ,—а сердца этихъ блестящихъ офицеровъ давно источены червями. Снимите съ нихъ мундиръ, и оттуда посыплются сѣрыя ноздреватыя кости и сухая желтая пыль. Но память духовна, и этихъ несчастныхъ дѣвушекъ влечетъ непреодолимое желаніе видѣть тѣ мѣста, гдѣ тѣло ихъ впитывало сладкій грѣхъ. Милостивый государь, допустите на минуту дѣйствительность царства мерт-

выхъ, и неужели вы думаете, что мертвыхъ не тянетъ туда гдѣ они любили, творили, вкушали восторги, страдали, умирали въ корчахъ, качались въ петлѣ веревки? Неужели Фальконету неинтересно посмотрѣть на мѣднаго гиганта посреди площади, или Монферрану на Исаакія?

Темная тѣнь скользнула по лицу старика, и голосъ его сталъ печальнымъ.

— Каждую ночь я выхожу на набережную и смотрю на академію художествъ, вотъ оттуда, гдѣ мы встрѣтились. Безъ Минервы эта громада не закончена и похожа на казармы. Я вижу, что это не удалось. Однако, я смотрю на нее съ тихимъ самоуслажденіемъ. Никакой истинный художникъ не удовлетворенъ собственнымъ созданіемъ. Но смерть примиряетъ, и есть тихая услада думать, что ты создалъ нѣчто, что пережило не только тебя, и твоихъ внуковъ, но переживетъ и еще десятки поколѣній...

— Кто вы?—вдругъ выкрикнулъ доцентъ, чувствуя, какъ сердце его начало выколачивать мелкую трель, и легкая дрожь передалась ногамъ и сдѣлала ихъ слабыми.

X.

— Бѣлою ночью Петербургъ хорошъ уже тѣмъ, что тутъ не нужно рекомендоваться,—уклончиво сказалъ старикъ.—Для чего вамъ знать мое имя, или мнѣ ваше? Развѣ мы стали бы больше уважать другъ друга, если бы были представлены и обмѣнялись карточками? И вѣдь имена умираютъ, какъ листья осенью. Кто-то построилъ академію, поставилъ колонны и умеръ,—и кому нужно его имя?

— Академію строилъ архитекторъ Кокориновъ,—сказалъ доцентъ.

— Александръ Филипповичъ Кокориновъ,—медлительно, точно безучастно, подтвердилъ старикъ. Онъ произнесъ имя раздѣльно, четко, точно вызывая кого-то далекаго и чужого.—Вы знаете, но, можетъ быть, вы—одинъ среди тысячъ. И вы помните его дальнѣйшую судьбу?

— Не помню,—съ нѣсколько тоскливымъ чувствомъ отвѣтилъ доцентъ, потеревъ лобъ подъ шляпой.—Не помню. Но какая-то необыкновенная смерть... А впрочемъ, забылъ, не помню...

— Растрелли, Шуваловъ, Бецкій ласкали его,—проговорилъ спутникъ, точно вспоминая.—Въ такія же ночи онъ выходилъ на набережную Невы и съ противоположной стороны, гдѣ стояли мелкіе дома, смотрѣлъ на колонны. Тогда еще не было сфинксовъ. Можетъ быть, въ одну такую ночь онъ проклялъ это зданіе, ибо оно дало совсѣмъ не то, чего онъ ждалъ. И это мгновеніе было такъ остро, что отъ этого можно было повѣситься...

XI.

Въ тихо льющейся рѣчи старика было точно какое обаяніе надъ душой доцента. Онъ чувствовалъ ее размягченной, погруженной въ старыя воспоминанія, тоскливо сжимающеюся точно подъ какимъ предчувствіемъ.

Уже давно не онъ велъ старика, а тотъ велъ его по стеклянному, безвоздушному городу. Какъ мертвые, стояли дома набережной, дворецъ и Эрмитажъ и бронзовый Суворовъ въ доспѣхахъ Марса. Точно выточенный изъ стали уходилъ въ небо острый шпицъ бывшаго Михайловскаго замка. Это мѣсто ночью всегда навѣвало на доцента своеобразное настроеніе жути и тайны. Нельзя было оторвать глазъ отъ этого шпица, отъ мелкихъ оконъ подъ самой кровлей. Нельзя было оторвать мысли отъ стремленія проникнуть внутрь, въ одинъ изъ таинственныхъ покоевъ, гдѣ мерещились на стѣнѣ шпаги штрафныхъ офицеровъ и синій шарфъ, накинутый на гвоздь, и пожелтѣвшія подушки...

А для старика все жило здѣсь иною, ушедшею жизнью. Онъ вспоминалъ о томъ, какъ строили замокъ, какъ ночью, при свѣтѣ фонарей, стучали здѣсь топоры, и зубило чеканило камень. Было трудно отдѣлаться отъ навязчивой мысли,

что онъ былъ всему этому свидѣтель. Доцентъ слушалъ его, и душа его пѣла,—какая странная встрѣча! Какая странная встрѣча!..

Въ пролетъ Садовой они вышли на Невскій. Былъ дикъ и рѣзокъ этотъ контрастъ жизни здѣсь и мертвеннаго покоя сейчасъ, въ сторонѣ. По проспекту мчались экипажи, неслись автомобили... Бѣлою ночью кипѣлъ здѣсь шумный и суетный день.

XII.

— И все-таки все это умретъ!—съ жуткой экспрессіей и почти гнѣвомъ сказалъ старикъ.—Инженерный замокъ превратится въ груду кирпичей, которые изъ красныхъ станутъ сѣрыми. Отъ Исаакія останутся однѣ руины, какъ отъ форума въ Римѣ. Въ лѣтнюю ночь луна будетъ серебрить уцѣлѣвшія колонны, поросшія сорной травой, и мелкіе воры растащутъ золоченые листы провалившагося купола. Въ одинъ день или въ одну ночь Александровская колонна гулко рухнетъ на пустую площадь и расколется на куски. Туристы будутъ пріѣзжать сюда, смотрѣть на то, что осталось отъ историческаго города, какъ нынѣ ѣздятъ въ Помпеи. Такъ преходитъ слава мірская!..

Мрачная, мертвая увѣренность была въ этихъ словахъ. Эта мысль была такъ нова и въ то же время такъ логична и истинна въ своей неожиданности, что она точно ударила Крематорскаго. Она была геніальна! Великій художникъ могъ воплотить ее въ безсмертной картинѣ, но милліоны людей проходили мимо золотого колосса и не чувствовали ея...

Доцентъ весь ушелъ въ эту мысль. Онъ точно видѣлъ темную громаду собора въ развалинахъ, съ однимъ острымъ бокомъ, съ покосившимся куполомъ, въ который ударялъ лунный бликъ. Ворона чесала клювъ на уголкѣ уцѣлѣвшаго фронтона... Почти мурашки пробѣжали по его спинѣ... Онъ

забылъ, что онъ не одинъ. Онъ уже не слышалъ голоса старика и не видѣлъ его...

Онъ очнулся, когда чье-то сдавленное дыханіе, какъ дыханіе хищнаго звѣря, дохнуло со свистомъ и ревомъ въ самыя его уши, и кто-то дьявольски сильный толкнулъ его въ плечо, бокъ и голову убійственнымъ толчкомъ.

Что-то сотрясло его мозгъ съ такой силой и болью, что сознаніе мгновенно покинуло его, и Крематорскій плашмя упалъ на камни, отшвырнутый въ сторону, какъ швыряетъ рыбакъ рыбу изъ лодки на прибрежный песокъ...

XIII.

Исторія доцента Крематорскаго, изувѣченнаго автомобибилемъ на Невскомъ проспектѣ, не вызвала большого шума. Несчастный случай газеты отмѣтили въ хроникѣ, но не сдѣлали изъ него событія.

Долго пролежалъ доцентъ въ своей постели и за это время взглянулъ въ лицо смерти.

О бѣлыхъ ночахъ уже не было и помина, когда глаза его снова открылись для сознательнаго воспріятія жизни.

Боялись, что онъ потеряетъ то, что было самымъ дорогимъ въ его профессіи—память. Страданіе было мозговое и, независимо отъ катастрофы, врачи находили нервную систему его надломленной до послѣдней степени. Но чудомъ уцѣлѣла память.

И странно, въ ней сама собой, безъ напоминаній и справокъ, возникла одна подробность. Крематорскій вспомнилъ, чѣмъ кончилъ Кокориновъ. Старая легенда гласила, что вѣчныя интриги къ концу жизни привели Александра Филипповича въ состояніе черной меланхоліи. Въ одну ночь онъ вышелъ на набережную посмотрѣть на твореніе своихъ рукъ. И здѣсь злое чувство творческаго разочарованія пронзило его на смерть. Онъ прошелъ на свой чердакъ, и на утро стараго ректора академіи вынули изъ петли...

О своей катастрофѣ доцентъ не могъ дать никакихъ объясненій. Онъ ничего не помнилъ объ этомъ, но съ капризной ясностью въ его умѣ осталось все то, что ей предшествовало.

Только все это было чудно и призрачно, какъ сонъ. И онъ никогда не могъ бы сказать, была ли это подлинная, реальная встрѣча, или больной кошмаръ нервной бѣлой ночи, облекшей въ реальный образъ его собственную, уже заболѣвшую мысль...

ГОМУНКУЛЪ.

I.

— Вы видите предъ собой человѣка, который, такъ или иначе, былъ однажды прикосновененъ къ дѣлу рожденія Гомункула.

— Ахъ, это должно быть очень интересно,—сказала дама съ мечтательными глазами.

— Это очень страшно, профессоръ?—спросила другая.

— Это не очень неприлично?—обезпокоилась третья.

— Я бы попросила предварительно объяснить мнѣ, кто это Гомункулъ,—сказала четвертая, очень хорошенькая, но довольно глупенькая.

Дамы всегда говорятъ вчетверомъ, если ихъ въ комнатѣ не больше четырехъ, и для свѣтскихъ людей нѣтъ большой трудности отвѣтить имъ всѣмъ сразу.

— Это интересно,—сказалъ профессоръ.—Это не дальше отъ страшнаго, чѣмъ отъ смѣшного, и не болѣе неприлично, чѣмъ современная беллетристика. Впрочемъ, это хорошо, что всѣ здѣсь присутствующія замужемъ. Что же касается Гомункула, то для интеллигентнаго человѣка обязательно знать только то, что такого химическаго человѣчка создаетъ докторъ Вагнеръ въ ретортѣ во второй части «Фауста»,—есть такая поэма, mesdames.

II.

— Видите ли, сударыни. Въ средніе вѣка думали, что человѣка возможно создать еще и путемъ кристаллизаціи,

и надъ этимъ ломали головы тогдашніе химики и врачи, которымъ казалось мало обычнаго способа появленія на свѣтъ.

Штопая дырки міроздания, они хотѣли поправить и эту маленькую ошибку природы.

Знаменитый Парацельсъ, о которомъ вы, вѣроятно, слышали...

— Да, я читала его сочиненія!—невпопадъ сказала хорошенькая, но глупенькая дама.

— О, я не предполагалъ, что вы такъ хорошо владѣете латынью!.. Такъ вотъ знаменитый Парацельсъ изслѣдовалъ этотъ вопросъ въ своей книгѣ «О происхожденіи вещей» и разъ чуть не отравилъ на-смерть своего ученика, понюхавшаго паровъ изъ реторты. Парацельсъ мечталъ найти Архей,—жизненную силу, поддерживающую бытіе всего животнаго. Ему казалось, что надо такъ соединить сѣру, соль и меркурій, чтобы создалась жизненная теплота.

III.

— Какая чепуха!—сказала одна дама.—Это глупо, какъ святочный разсказъ.

— И что же, вы въ нашъ вѣкъ повторили опытъ Парацельса?—спросила другая.

— И вамъ это удалось, профессоръ?

И сѣрые глазки хорошенькой дамы стали большими.

— Мы дѣлали это нѣсколько иначе,—отвѣчалъ разсказчикъ, на этотъ разъ только троимъ.—Въ какой мѣрѣ намъ это удалось—вы увидите. Что же касается до чепухи, то по тому младенческому времени это было простительно.

Видите ли, человѣчеству искони была свойственна вѣра въ особое самобытное рожденіе.

Платонъ оставилъ изреченіе, что живое родится отъ смерти. Аристотель думалъ, что насѣкомыя родятся сами.

Плутархъ увѣрялъ, что земля Египта рождаетъ крысъ. Еще въ XVII вѣкѣ Кирхеръ доказывалъ, что изъ сушеной и истолченной змѣи выйдутъ послѣ дождя мелкія змѣйки, если этотъ порошокъ посѣять въ землю.

— Кажется, что это будетъ что-то очень умное, и я ничего не пойму,—улыбнулась себѣ хорошенькая, но глупенькая дама, закрыла глаза и сказала:—Какой вы умный!..

— Я не думаю, что не поймете,—утѣшилъ профессоръ.— И вотъ точно такъ же думали о человѣкѣ. Въ сущности, mesdames, мечта современной науки очень близка къ этой мечтѣ о «философическомъ человѣкѣ». Современная наука мечтаетъ создать искусственную человѣческую клѣтку...

— Клѣтку?—съ ужасомъ спросила хорошенькая дама.

IV.

— Да, сударыня, не пугайтесь,—человѣческую клѣтку, ту первичную основу тѣла, изъ которой создается организмъ. Найти секретъ клѣтки, значитъ—найти секретъ безсмертія.

Заболѣвшія, одряхлѣвшія, умершія клѣтки мы замѣняли бы въ себѣ новыми и новыми.

Солдату, у котораго выхватило бы бомбой бокъ, вставляли бы новый кусокъ мяса, и онъ продолжалъ бы отбывать второй срокъ повинности.

Что для васъ не совсѣмъ безразлично, mesdames, былъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ найденъ секретъ вѣчной молодости, и дамы были бы прекрасны, переживъ сто тридцать пятую весну.

Четыре слушательницы вздрогнули и навострили ушки.

Къ великому сожалѣнію, наука до сихъ поръ не можетъ ни поддѣлать клѣтки, ни создать хоть одну каплю крови, отлично зная, сколько въ нее идетъ бѣлковины, фосфору, поваренной соли или желѣза.

Изъ человѣческаго желѣза можно сдѣлать брелокъ. Но

изъ желѣза, соли и пр. до сихъ поръ не удалось никому создать каплю крови.

— Какъ брелокъ?—воскликнули дамы всѣ вчетверомъ.— Вы шутите, профессоръ!

— Ничуть. Исторія знаетъ случай, когда одинъ парижскій студентъ задался цѣлью подарить невѣстѣ колечко изъ собственной крови. Черезъ извѣстные промежутки онъ дѣлалъ себѣ кровопусканія и химически выдѣлялъ желѣзо изъ крови. Конечно, онъ истощилъ себя и умеръ.

— Вотъ такую любовь я понимаю!—сказала мечтательная дама и улыбнулась хорошенькой.

V.

— Я былъ студентомъ. У меня былъ другъ. Мы жили въ одной улицѣ, но въ разныхъ домахъ.

Это былъ именно изъ тѣхъ людей, которые для вящшей славы науки готовы выковать кольцо изъ собственной крови,—удивительный фантазеръ, странно совмѣщавшій въ себѣ научность съ мистикой.

Ему надо было родиться въ эпоху Раймонда Люлля или Парацельса. Въ наукѣ онъ былъ фанатикъ, но надъ всѣми его исканіями вѣяло странной для ученаго мечтой случайно подсмотрѣть и поймать какую-то тайну природы.

Онъ мѣнялъ увлеченія, какъ Донъ-Жуанъ—женщинъ.

То онъ носится съ цвѣтной фотографіей, то варитъ и кипятитъ въ своихъ кастрюлькахъ составъ изъ бѣлковины, фосфора и желѣза, которымъ бы можно было замѣнить обѣды и ужины, то пробуетъ на плѣшивой головѣ гуляки-сапожника свои составы для рощенія волосъ.

VI.

Руки у него были вѣчно обожжены кислотами, жилетъ—въ цвѣтныхъ пятнахъ. Въ своей студенческой ком-

паніи мы его не звали иначе, какъ Менделѣевымъ. И для многихъ онъ былъ притчей во языцѣхъ.

— Будетъ тебѣ,—говоримъ,—стряпать, пойдемъ пиво пить. Малый ты еще мальчикъ-несмышленочекъ,—гдѣ тебѣ порохъ выдумать? Да и надо же что-нибудь оставить Вирховымъ и Павловымъ.

А онъ въ отвѣтъ огрызается:

— А кто,—спрашиваетъ,—открылъ сѣмянныя тѣльца человѣка? Не студентъ ли Гамъ изъ Лейдена? А то, а это?..

И заведетъ такой монологъ, что, бывало, махнешь на него рукой и идешь по своимъ дѣламъ, оставивъ его съ его «услужающей», разбитной хохлушкой Христей, которая была у него и за повара, и за портниху, и за горничную.

VII.

Разъ въ думной головѣ нашего Менделѣева засѣла мысль о Гомункулѣ. Разумѣется, не въ той дѣтской формѣ алхимиковъ, что вотъ, молъ, что-то надо смѣшать и встряхнуть въ баночкѣ,—и выйдетъ живъ человѣкъ, а въ формѣ мечты о созданіи искусственной клѣтки.

Показываетъ онъ мнѣ однажды какую-то старую рукопись и говоритъ:

— Прочитай.

Читаю:

«Для рожденія философическаго человѣка возьми колбу изъ лучшаго стекла, положи въ оную чистой майской росы, въ полнолуніе собранной, двѣ части мужской крови и три—женской, потомъ поставь оное стекло съ сею матеріею сохранно на два мѣсяца для гніенія въ умѣренную теплоту, и тогда на днѣ онаго ссядется красная земля...

«По времени процѣди сей менструмъ въ чистую колбу, возьми одну грань тинктуры изъ царства животныхъ и поставь сіе паки въ умѣренную теплоту на мѣсяцъ. Тогда

подымется кверху пузырекъ. Когда же покажутся жилки, влей туда твоего процѣженнаго менструма, и тако твори четыре мѣсяца. Услышавъ нѣчто шипящее и свистящее въ колбѣ, подойди къ ней и, въ веліей радости и удивленіи, увидишь тамо живую тварь».

VIII.

— Что ты,—спрашиваетъ,—на это скажешь?

— Посрамилъ парижскую академію!

— Видишь ли,—говоритъ.—При буквальномъ пониманіи это, конечно, зеленая чепуха, но не есть ли это обычное для алхимиковъ иносказаніе объ искусственной клѣткѣ, которая, можетъ быть, была извѣстна древнимъ, какъ, напримѣръ, было извѣстно розенкрейцерамъ примѣненіе электричества до его офиціальнаго открытія? Можетъ быть, надо только расшифровать, что́ надо разумѣть подъ тинктурой царства животныхъ или подъ майской росой, чтобы создать клѣтку. Ты понимаешь,—клѣтку! Милый мой, вѣдь это перевернетъ оба полушарія!

— Правильно,—говорю,—перевернетъ. Только полушарій твоего мозга и перевертывать не надо. Перевернуты!

— Человѣчеству,—продолжаетъ,—всегда была свойственна эта вѣра. Можетъ быть, Гомункулъ—аллегорія, маска. Вонъ я вчера съ Христей разговорился. Есть народное сказаніе о гусиномъ выродкѣ. Нужно,—говоритъ,—дѣвкѣ семь недѣль носить подъ мышкой гусиное яйцо, и родится изъ него подобіе человѣка.

Вознесъ я надъ нимъ благословляющія руки, какъ отшельникъ въ оперѣ, и говорю:

— Дѣйствуй, Андрюшка Менделѣевъ! А какъ родишь, зови меня въ крестные...

IX.

Думалъ я, конечно, что черезъ недѣлю этой блажи конецъ,—ошибся. Захватило его крѣпко. Сидитъ день и ночь

въ своей норѣ, возится съ микроскопомъ, анализируетъ бычью кровь, кипятитъ въ стклянкахъ какую-то дрянь.

— Что,—смѣюсь,—еще не шипитъ? Жилки не пошли?

— Смѣйся,—отвѣчаетъ.—Ты не одинъ. Надъ громоотводомъ Франклина смѣялось лондонское королевское общество. Парижская академія вышутила телеграфъ. Ты—въ почтенной компаніи.

...Была зимняя ночь, mesdames,—одна изъ тѣхъ, за которыя дорого далъ бы рождественскій беллетристъ.

Вѣтеръ вздыхалъ въ трубѣ, какъ приговоренный къ повѣшенію.

На башнѣ Сульпиція пробило 12.

Я сидѣлъ у себя, когда за мной прибѣжалъ запыхавшійся дворницкій парнишка моего друга.

Запиской онъ звалъ меня немедленно къ нему по неотложному дѣлу, прося захватить съ собой денегъ.

— Въ чемъ дѣло?

— Не могу знать. Только какъ-будто у барина несчастье. Кто-то у его кричитъ,—надо быть, помираетъ...

X.

Мела метелица, и снѣгъ плевалъ прямо въ лицо. Огонь въ фонаряхъ шатался, какъ пьяный. Кутаясь въ пледъ, я перебѣжалъ улицу.

Конечно, больше всего я склоненъ былъ догадываться, что Андрей «сдѣлалъ что-нибудь надъ собой», порѣзался и истекаетъ кровью или отравился какимъ-нибудь кислотнымъ паромъ.

Это было такъ просто и возможно, но, долженъ сознаться, напрашивались и дикія предположенія. Не то чтобы я могъ повѣрить въ рожденіе Гомункула, но невольно думалось, что̀ если въ самомъ дѣлѣ сейчасъ тамъ, въ тѣсной мансардѣ, подъ низкимъ потолкомъ подлѣ Христиной кухонки, совершилось одно изъ міровыхъ открытій!...

Я влетѣлъ на четвертый этажъ бомбой. Дверь была незаперта. Въ квартирѣ стояла тишина. Андрей встрѣтилъ меня блѣдный, съ волосами, прилипшими ко лбу.

— Слава Богу!—сказалъ онъ, стараясь улыбнуться.— Все кончилось благополучно. Мальчикъ. Ну, и была-жъ исторія.

— Ты съ ума сошелъ!—воскликнулъ я.—И я это дѣйствительно думалъ, mesdames.—Родился Гомункулъ?

— Какой Гомункулъ? Я-жъ тебѣ говорю,—мальчикъ. У Христи мальчикъ. Ты понимаешь русскій языкъ? Ей было преждевременно, но она поскользнулась, идя въ погребъ, и ускорила...

XI.

Тутъ ужъ судите меня—не судите, но, невзирая на всю торжественность момента, я расхохотался, какъ оглашенный.

Въ то время, какъ онъ трудился надъ химическимъ Гомункуломъ, жизнь, здоровая, прямая и животно-откровенная, сшутила надъ новымъ Вагнеромъ-книгоѣдомъ одну изъ своихъ добродушныхъ, не безъ циническаго оттѣнка, шутокъ!.. И какъ просто и мѣтко!

Христя оказывалась для него немножко больше портного, повара и горничной и немножко меньше жены.

Потомъ, конечно, mesdames, я узналъ все.

Почему онъ не посвятилъ меня раньше въ свой романъ? Знаете, молодость застѣнчива, а ему приходилось быть отцомъ въ первый разъ, да съ непривычки.

Христя же этотъ маленькій секретъ такъ мастерски умѣла прятать платочкомъ, что неопытному человѣку не подавала и повода.

Я кончилъ.

Три дамы были явно разочарованы, а мечтательная вздохнула и уронила:

— Въ концѣ-концовъ, всѣ мужчины одинаковы...

«ВТОРОЙ ШАЛЯПИНЪ».

I.

Какъ это ни странно, однимъ изъ лицъ, наиболѣе глубоко затронутыхъ извѣстіемъ, что въ Своеволинскъ пріѣзжаетъ на нѣсколько гастролей Ѳеодоръ Шаляпинъ,—самъ знаменитый Шаляпинъ,—былъ второй дьяконъ своеволинскаго собора Киріакъ Двукраевъ.

Городъ былъ губернскій и на бойкомъ мѣстѣ, но какъ-то случалось такъ, что въ послѣдніе годы его точно обходили и примѣчательныя событія, и интересные люди, и революція, и ярмарки.

Въ третьемъ году наѣхали актеры съ знаменитой актрисой. Въ мѣстномъ театрѣ знаменитость получила флюсъ и, поругавшись съ антрепренеромъ, черезъ три дня уѣхала первымъ классомъ, а актеры ушли домой по шпаламъ.

Осенью заѣхалъ циркъ съ неизбѣжными восковыми фигурами Клеопатры, Юліи Пастраны и Скублинской и прочихъ уголовныхъ и фальшивомонетныхъ знаменитостей. Но въ циркѣ перебывало гораздо меньше народу, чѣмъ въ предмѣстьѣ «Старыя поселки», гдѣ новоявленный юродивый Пантюша, съ вывернутой ногой и съ грудью, увѣшанной кукольными крестами и звѣздами, на манеръ пиѳіи предсказывалъ за оловянныя пуговицы будущее.

Городъ скучалъ по событіямъ. Какъ-то изстари повелось, что онъ шелъ въ хвостѣ у другихъ городовъ. Уже всюду на черныхъ крыльяхъ пролетѣла политическая буря, разыгрались событія, а здѣсь даже не было и митинговъ. Аграрное движеніе коснулось только уголка губерніи.

Въ городѣ еще не прогремѣлъ ни одинъ выстрѣлъ. Городовые спокойно ходили по улицамъ, не помышляя ни о какихъ панцыряхъ. Недавно назначенный губернаторъ безмятежно разъѣзжалъ по обѣдамъ и торжествамъ, освящалъ богадѣльни, церкви и вокзалы, волочился за свѣтскими дамами и писалъ, какъ шутили, какой-то «проектъ аграрныхъ безпорядковъ», который долженъ былъ облагодѣтельствовать Россію.

Въ городѣ заговорили о Шаляпинѣ съ той самой минуты, какъ «Губернскія Вѣдомости» и мѣстный «Листокъ» перепечатали изъ какой-то столичной газеты слухъ, что своеволинскій антрепренеръ вступилъ въ переговоры съ феноменальнымъ басомъ. Въ своеволинскихъ салонахъ разговоры на эту тему вдругъ стали модными.

Нѣсколько счастливцевъ, которымъ удалось когда-то слышать Шаляпина, стали сразу самыми интересными людьми въ городѣ. Не одна дама изъ мало пріятныхъ во всѣхъ отношеніяхъ взяла грѣха на душу и передала профанамъ свои «первыя впечатлѣнія» отъ пѣнія знаменитости, которую на самомъ дѣлѣ не слышала и во снѣ.

И потому, какъ маленькій, щупленькій опытный антрепренеръ, еще два года назадъ добывавшій себѣ пропитаніе спиритическими сеансами и дважды битый акцизнымъ чиновникомъ Джурбою «по мордѣ» за жульничество, —вдругъ сталъ важенъ, заносчивъ и сосредоточенъ,—было, въ самомъ дѣлѣ, совершенно ясно, что Шаляпинъ пріѣдетъ.

II.

А когда въ одно прекрасное мартовское утро по городу пробѣжалъ всѣмъ извѣстный еврей, Наумчикъ изъ-за бугра, съ кипой афишъ въ сумкѣ, съ клеевой банкой въ рукѣ и съ кистью въ другой и торопливо, точно онъ расклеивалъ не театральныя афиши, а прокламаціи, призывающія къ вооруженному возстанію, налѣпилъ саженные листы на

всѣ углы, заборы, фонари, телеграфные столбы, караульныя будки,—замерло и послѣднее сомнѣніе.

Афиши объявили, что 26 и 27-го марта въ мѣстномъ театрѣ состоятся двѣ гастроли возвратившагося съ юга «феноменальнаго баса». Весь городъ ахнулъ, вышелъ изъ береговъ и зашумѣлъ, какъ улей.

Все это, разумѣется, было ничуть не удивительно, но на посторонній взглядъ было нѣчто безусловно странное въ томъ, какъ юркій «Наумчикъ изъ-за бугра» взволновалъ своеволинскаго соборнаго дьякона.

День былъ воскресный, и соборный протопопъ, служившій вмѣстѣ съ нимъ, замѣтилъ, что о. Киріакъ разсѣянъ, какъ школьникъ на весеннемъ урокѣ, увидѣвшій въ окно идущую по забору кошку.

За обѣдней Киріакъ разъ или два перепуталъ возгласы, закусилъ протопопову просвиру и, возвратясь съ панихиды въ алтарь, такъ небрежно сунулъ кадило въ руку протопопу, а сторожу отвѣсилъ такой почтительный поклонъ, словно бы онъ воспринималъ всѣ жизненныя впечатлѣнія совсѣмъ наоборотъ, какъ фотографическій негативъ.

Протопопъ, державшій себя съ дьяконами всегда по-генеральски, спустилъ дьякону и возгласы и просвирку, но послѣ кадила и поклона не утерпѣлъ и спросилъ:

— Что-й-то вы, отче, какой сегодня необыкновенный? Ужъ не приращенія ли семейства ждете? Вы ужъ, пожалуйста, въ моей рясѣ не уйдите. Мнѣ ваша малость велика будетъ...

III.

Гдѣ, однако, лежали причины столь страннаго волненія дьякона?

Сказать, что въ молодости Двукраевъ былъ большой любитель оперы, значило бы, конечно, нѣчто уяснить въ его психологіи. Въ самомъ дѣлѣ, это былъ тотъ самый

семинаристъ, который лѣтъ восемнадцать назадъ прославился на всю Тулу знаменитымъ «блазнительнымъ случаемъ», попавшимъ даже въ газеты.

Случай сводился къ тому, что однажды, въ бытность Двукраева въ семинаріи, молодой монахъ-инспекторъ, обходя ночью спальныя, наткнулся на неожиданность. На кровати Двукраева, вмѣсто семинариста, тщательно укутанный одѣяломъ лежалъ такъ называемый на семинарскомъ языкѣ «Ванька», т. е. чучело изъ подушекъ и одѣялъ съ сосѣдней порожней постели. Монахъ пустилъ въ ходъ всю свою хитрость, чтобы подкараулить проказника. Его торжественно встрѣтили, когда онъ въ третьемъ часу возвращался восвояси.

Тутъ открылся еще горшій соблазнъ. Захваченный врасплохъ, молодой человѣкъ чистосердечно повинился, что онъ идетъ изъ такого богопротивнаго учрежденія, какъ городской театръ, и тамъ онъ не только смотрѣлъ представленіе, но и пѣлъ въ хорѣ за внезапно заболѣвшаго своего пріятеля, пѣвчаго-баса.

У архимандрита-ректора, которому на утро же доложили о тройномъ преступленіи Двукраева, были три антипатіи въ жизни.

Онъ терпѣть не могъ, когда ѣли рыбу съ ножа, не выносилъ рыжихъ женщинъ и считалъ театръ бѣсовскимъ ухищреніемъ. Въ театрѣ онъ не былъ никогда въ своей жизни, но представлялъ его, по Златоусту, вмѣстилищемъ всякой мерзости и скверны.

Ему казалось, что тамъ еще и посейчасъ плаваютъ голыя женщины въ бассейнахъ.

И онъ такъ замахалъ руками на будущаго о. Киріака, точно къ нему привели бѣсноватаго.

Экстренно на другой же вечеръ собралось засѣданіе синедріона, какъ семинаристы называли правленіе. Въ одинъ моментъ полетѣла въ трубу карьера молодого человѣка. Двукраева исключили и только въ видѣ особой милости,

въ уваженіе къ прежнему поведенію его, замѣнили ему тройку по поведенію четверкой.

Голосъ спасъ Двукраева. Онъ не далъ ему пропасть. Онъ возвелъ его даже до собора, гдѣ Киріакъ теперь «вторствовалъ», замѣняя, какъ сейчасъ, стараго протодіакона, который ужъ началъ сдавать и поминутно хворалъ.

Казалось бы, горькое воспоминаніе юности должно было дѣлать дьякона именно равнодушнымъ до окаменѣлости къ столь злополучнымъ для него театральнымъ представленіямъ.

Ко всему этому, уже прошло ровно восемнадцать лѣтъ, какъ у него погасъ и никогда не воскресалъ интересъ къ театру. Но на этотъ разъ были еще совсѣмъ особыя обстоятельства.

IV.

Разъ въ городѣ освящали богадѣльню. На торжествѣ были даже гости изъ Москвы. Киріакъ оказался въ ударѣ и вознесъ такое многолѣтіе создателямъ и благотворителямъ, что стекла въ окнахъ зданія задрожали, а ребята заплакали.

— Да это второй Шаляпинъ!—сказалъ благотворитель.— Вотъ Богъ! Этакъ и нашъ московскій митрополичій протодьяконъ не сдѣлаетъ. Ахъ, ты, Боже мой!

И не одинъ онъ былъ въ восторгѣ. За обѣдомъ купцы усадили его съ собою и запотчевали въ двѣнадцать рукъ. «Какой же ты басъ, ежели выпить не можешь?». И Киріакъ рѣшительно не помнилъ, какъ въ этотъ день онъ оказался у себя на квартирѣ, и откуда у него въ карманѣ подрясника взялись салфетка, портсигаръ и чьи-то подтяжки.

Съ этихъ поръ къ Киріаку точно пристало имя второго Шаляпина.

Можно понять теперь, какое сложное чувство долженъ былъ переживать онъ въ виду предстоящихъ гастролей зна-

менитости. Тутъ было и любопытство,—самое жгучее и законное любопытство художника, горящаго желаніемъ послушать признаннаго маэстро. Такъ русскихъ художниковъ тянетъ въ Италію къ полотнамъ Рафаэля и Ванъ-Дейка.

Тутъ была и огромная доля самолюбиваго волненія. Кому, однако, принадлежитъ преферансъ? Оно, положимъ, на сторонѣ знаменитости и великолѣпная выучка, и итальянскіе профессора, но окажется ли у него та очаровательная густота, которая плыветъ у него, Киріака, по собору, какъ грозовое облако по испуганному небу?

Пріѣзжая знаменитость, можетъ быть, и не ждетъ, что она сюда ѣдетъ на генеральный экзаменъ и, можетъ быть, уѣдетъ отсюда съ опущенными крыльями, а газеты вдругъ затрещатъ о феноменальномъ басѣ изъ Своеволинска. «Намъ сообщаютъ...»—и Двукраеву уже живо мерещилось, что въ газетѣ сообщаютъ о немъ въ слышаніе всего міра.

V.

Всѣ эти соображенія были сами по себѣ сложны и тревожны, но для своеволинскаго дьякона они имѣли еще совсѣмъ исключительную затруднительность, которую не сразу можетъ понять свѣтскій человѣкъ. Ничего не было проще для обыкновеннаго смертнаго произвести подобную оцѣнку. Надо было пойти и послушать артиста.

Но какъ это могъ бы сдѣлать о. Киріакъ, разъ уже обжогшійся именно на этомъ самомъ мѣстѣ? Какіе-то, не то лаодикійскіе, не то никійскіе отцы пятнадцать вѣковъ назадъ заказали духовному лицу посѣщать зрѣлища, и это до сихъ поръ свято, какъ свято то, что на Рождество надо служить повечеріе, а въ посту не ѣсть яицъ.

Когда Двукраевъ попробовалъ сходить въ пріѣзжій зоологическій садъ, гдѣ и самою-то главною достопримѣчательностью былъ баранъ съ тремя рогами, а большинство

остальныхъ звѣрей замѣнялись просто бритыми собаками,— ему и тамъ казалось, что на него всѣ показываютъ пальцемъ, хотя уже у святыхъ отцовъ не было прямыхъ запрещеній «Зоологіи».

Переодѣться, спрятать волосы и проникнуть въ театръ Киріаку, восемнадцать лѣтъ не выходившему изъ подрясника, казалось, непозволительнымъ и сквернымъ жульничествомъ. Услышать пѣвца гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ было полною невозможностью.

Антрепренеръ, прежде промышлявшій спиритизмомъ, распространялъ по городу слухи, что только двѣ гастроли стоятъ ему десять тысячъ. За одно «гляже» съ галерки приходилось платить по полтиннику.

Дьяконъ терялся. Дьяконъ изнемогалъ въ измышленіяхъ. Искушеніе было настолько неопреодолимо, что онъ чувствовалъ, что не остановился бы ни передъ чѣмъ, даже передъ самымъ отчаяннымъ шагомъ. Совершенно понятно, что онъ могъ не только вручить кадило протопопу вмѣсто сторожа, но даже положить деньги въ кадило вмѣсто ладона.

Острое и безпокойное состояніе усиливалось еще оттого, что всю эту безпокойную работу дьяконъ считалъ необходимымъ переживать исключительно наединѣ съ самимъ собою, на этотъ разъ не посвящая въ нее даже своей жены, перваго друга и «секретаря сердечныхъ дѣлъ», какъ онъ называлъ ее.

VI.

Нашлось только одно лицо, которое Двукраевъ послѣ долгихъ колебаній рѣшился посвятить въ свой секретъ. Это былъ нѣкто Лука Сварогинъ, болѣе извѣстный обывателямъ подъ именемъ «Стаканчика», а своеволинскимъ соборянамъ—подъ именемъ Памвы.

Памва былъ блуждающей планетой, лѣтъ пять назадъ

объявившеюся на городскомъ небосводѣ. Какъ и Киріакъ, онъ былъ левитскаго происхожденія и также кормился голосомъ. Какъ цыганъ, онъ кочевалъ по пѣвческимъ хорамъ, по захудалымъ труппамъ, когда-то ѣздилъ со Славянскимъ.

Въ трудную минуту онъ могъ сойти и за драматическаго актера, и за суфлера. Въ совсѣмъ трудныя минуты онъ пристраивался въ такъ называемые халтуристы при церквахъ и кладбищахъ, раздувалъ кадила, пѣлъ молебны. Неизмѣннымъ для него во всѣхъ положеніяхъ было одно— Сварогинъ пилъ, какъ губка. Стаканчикъ былъ для него предѣломъ желаній. Такъ создалось и прозвище.

Разъ за обѣдней, среди голосовъ соборныхъ пѣвчихъ, Киріакъ чуткимъ ухомъ нащупалъ новый тенорокъ. Что-то до несомнѣнности знакомое почудилось ему въ немъ. Киріакъ навострилъ ухо и изъ боковой алтарной двери закинулъ взглядъ на клиросъ. Закинулъ и чуть не ахнулъ.

Среди пѣвчихъ стоялъ его товарищъ по семинаріи — Сварогинъ и пѣлъ, несуразно держа у подбородка огромную красную и волосатую руку, далеко вылѣзшую изъ короткаго рукава.

Все это было, какъ двѣ капли воды, похоже на Луку, когда тотъ еще не былъ Стаканчикомъ. Киріакъ вглядѣлся. Да, не можетъ быть ошибки. Это его красный носъ, выдающій abusus spirituorum, какъ выражался семинарскій фельдшеръ, его несуразные патлы, вся его испитая фигура унылаго рыцаря Донъ-Кихота изъ Ламанчи!..

VII.

Двуекраевъ былъ уже въ четвертомъ классѣ, когда Сварогинъ поступилъ въ первый. Дальше этого онъ такъ и не пошелъ, почтивъ семинарію трехлѣтнимъ пребываніемъ въ одномъ классѣ и обнаруживъ полнѣйшее несваренiе греческихъ глаголовъ и латинскихъ склоненій. Послѣ

этого ректоръ позвалъ его, вручилъ ему бумаги, заявилъ объ исключеніи и уподобилъ его трехлѣтнюю учебу тридневному пребыванію Іоны во чревѣ китовомъ.

Двукраевъ зазвалъ къ себѣ Луку, пригрѣлъ и разспросилъ. Сварогинъ и теперь оказывался яко нагъ, яко благъ— безъ денегъ и безъ мѣста. Двукраевъ посодѣйствовалъ ему, и тотъ съ годъ прослужилъ въ пѣвчихъ соборнаго хора.

Разъ въ пономаркѣ, въ присутствіи кой-кого изъ причта, Сварогину довелось передать не совсѣмъ цензурное сказаніе Пролога о томъ, какъ однажды бѣсы искушали благочестиваго пустынножителя Памву.

Памва былъ подвижникъ серьезный и въ молитвѣ большой усердникъ, бѣсамъ же, во что бы то ни стало, надо было его разсмѣшить и именно на молитвѣ. Изъ-за этого весь трудъ подвижника шелъ на нѣтъ, а имъ выходила изрядная награда отъ Вельзевула.

Но съ Памвой рѣшительно ничего нельзя было подѣлать. Старецъ уперся, точно воды въ ротъ набралъ. Не разглаживались морщины на его челѣ. Въ конецъ измучились бѣсы.

И тутъ Сварогинъ такъ художественно передалъ, какъ бѣсы, по совѣту одного изъ наиболѣе шустрыхъ, цѣлымъ десяткомъ принялись тащить соломинку и чѣмъ, наконецъ, имъ удалось разсмѣшить даже пустынника,—что всѣ, кто былъ въ пономаркѣ, легли, что называется въ лоскъ.

Даже серьезный и болѣзненный о. Дмитрій, подсчитывавшій въ сторонѣ кружку, фыркнулъ со смѣху въ свою восковую ручку и укоризненно произнесъ:

— Ахъ, ты, Памва, Памва!..

Анекдотъ пошелъ среди соборянъ, которымъ было скучно стоять за службой. Всѣ узнали про художественный талантъ Стаканчика. Его встрѣчали староста, регентъ, дьякона, и всѣ просили разсказать сказаніе. «А, ну-ка, ну-ка, про Памву!» Сварогинъ разсказывалъ, и незамѣтно прозвище Памвы вдругъ приклеилось къ нему. Для него пожертво-

вали даже «Стаканчикомъ», которое было по-своему выразительно.

Случился обыкновенный для него запой; Памва, конечно, разладилъ съ регентомъ и ушелъ къ другимъ пѣвчимъ; Когда въ городѣ остановилась постоянная опера, Памву переманилъ къ себѣ спиритъ-антрепренеръ. Между прочимъ, онъ обѣщалъ ему безплатно вылѣчить его гипнозомъ отъ запоя.

Гипнозъ не подѣйствовалъ на Памву, но съ этого времени сталъ изрѣдка запивать и самъ антрепренеръ.

Стаканчикъ оставался вѣренъ своему заглавію, но при театрѣ онъ былъ полезенъ, какъ человѣкъ «на всѣ руки». Онъ могъ не только пѣть, но и подмалевать декорацію. Съ одинаковымъ успѣхомъ въ нужную минуту онъ сходилъ за лакея съ подносомъ или вертѣлъ дождевое колесо.

Памву терпѣли. Въ свою очередь, Памва терпѣлъ неаккуратные платежи и свою скромную роль. Все-таки лучше быть артистомъ, чѣмъ халтуристомъ.

VIII.

Въ своемъ затруднительномъ положеніи, Киріакъ рѣшилъ ухватиться за Памву, какъ за якорь спасенія. Онъ таинственно вытребовалъ его къ себѣ и съ длиннымъ подходцемъ изложилъ свое желаніе.

Памва, въ свою очередь, весь былъ полонъ профессіональной тревогой ожиданія. Чтобы не ударить лицомъ въ грязь, каждый день утромъ и вечеромъ въ театрѣ шли спѣвки.

Партнерша знаменитости пріѣзжала изъ другого города, хористы и остальные артисты оставались туземные. Ех-спиритъ суетился, носился по городу на извозчичьемъ одрѣ и на репетиціяхъ кричалъ на актеровъ охрипшимъ голосомъ.

Сварогинъ встрѣтилъ мысль дьякона горячимъ сочувствіемъ. Онъ даже самъ загорѣлся.

— Я тебѣ, батя, все обдѣлаю,—говорилъ онъ прожевывая сыръ.—Ежели у тебя такое огнепальное желаніе, такъ я тебя даже за кулисы свожу. Съ самимъ Шаляпинымъ познакомлю. Какъ дождь дѣлаютъ, покажу, или какъ громъ гремитъ. А Шаляпинъ простой парень.

Онъ говорилъ о знаменитости такъ, какъ говорятъ о близкомъ знакомомъ. Разъ онъ пилъ у него кофе,—«и представь, сливокъ не нашлось дома. Вотъ была потѣха». Дьяконъ удивился и началъ жадно разспрашивать, гдѣ они встрѣчались, и каковъ Шаляпинъ изъ себя, но Памва залѣзъ въ такую путаницу съ городами, именами и годами, а самого Шаляпина описалъ такими неопредѣленными чертами, что совершенно уподобился бабѣ, которая видѣла домового, но только и могла сказать о немъ, что онъ весь мутный.

— Понимаешь, бритый такой. Ну, вотъ весь бритый. Росту этакъ, какъ тебѣ сказать, ни то, ни се. Что значитъ высокій человѣкъ? Это, братъ, все относительно,—откуда будешь смотрѣть.

— Ну, само собой, не съ колокольни,—пояснилъ Кириакъ.

— Не съ колокольни! Ты, братъ, точно не вѣришь. Не хошь, такъ, конечно, не вѣрь. Мое дѣло махонькое. Не очень высокій онъ, ну и не такъ, чтобы маленькій. А голосина, ухъ! Какъ ахнетъ,—такъ держись за косякъ, а не то моментально рыломъ въ пыль. А лицо все бритое, каждый день бреется. На дню два раза.

— Ну, ужъ ты ахнулъ! Экая ты Крикса-Варакса.

— Вотъ Богъ. Не видалъ я, что ли? Иной разъ у него сижу, а онъ щеку намыливаетъ. А не вѣришь,—что-жъ я съ тобой подѣлаю, съ Ѳомой невѣрнымъ!

IX.

Въ дальнѣйшемъ описаніи оказывалось какъ-то такъ, что пѣвецъ не то брюнетъ, не то «свѣтлый», не то плотенъ, не то сухощавъ.

— Однимъ словомъ, чего хочешь, того и просишь, — откровенно засмѣялся Киріакъ.

Похоже было, что Памва зарапортовался. Притомъ же все время онъ точно нарочно старался поставить свое лицо какъ-разъ за огнемъ свѣчки, словно пряча взглядъ отъ Киріака.

— Да, вотъ самъ увидишь, — точно съ облегченіемъ закончилъ онъ и какъ-то торопливо перешелъ къ плану посѣщенія спектакля.

— Внизъ тебѣ нельзя—загнулъ онъ мизинецъ.—Партеръ называется (Памва произнесъ е, какъ въ словѣ «полотеръ»), и тамъ ты весь виденъ, что клопъ на пуховикѣ. Но и въ галерку я тебѣ не совѣтую (Сварогинъ щелкнулъ по второму пальцу). Съ твоими волосами тебя всякая собака узнаетъ. Вотъ, скажутъ, куда нашъ паки забрался. Морали послѣ не оберешься. Надо тебѣ, милый человѣкъ, не иначе, какъ въ ложу.

— Въ ложу?

— Безпремѣнно, чтобы въ ложу. Подберемъ мы которая поближе къ сценѣ. Засядешь ты въ углу, что тараканъ въ щель, и никакимъ тебя оттуда биноклемъ не ухватишь. Огонь спустятъ, въ ложу вылѣзешь, а антракты въ аванъ-ложѣ сиди. Это, скажемъ, какъ въ передбанникѣ. На ключъ изнутри закроешься. Газету, что ли съ собой возьми, а то просто о безсмертіи души думай. На жилетку цѣпь навѣсь. Будто проѣзжій купецъ, скажемъ, изъ Нижняго. «Златая цѣпь на дубѣ томъ». Волосы репейнымъ масломъ смажь, и за уши зачеши поглаже, а на шею черный платокъ накинь, будто у тебя горло больное. Хорошо, что ты не кудрявый. Проведу я тебя пораньше, потому мнѣ во второмъ дѣйствіи ужъ на сценѣ быть надо. Я тамъ на правой сторонѣ вторымъ отъ краю стою, въ рогъ будто бы трублю, и на головѣ у меня тирольская шляпа. Да для смѣлости, братецъ, коньячку ахни. И съ собой полдиковинку захвати. Не повредитъ. Ну, мнѣ дашь малость. Послѣ третьяго дѣйствія я къ тебѣ поднимусь, какъ морду

вымою. Твое дѣло только деньги припасти да одежду раздобыть. А все остальное я тебѣ разстараюсь. Для кого другого, а для тебя, братъ, все. Не падай юхомъ, Дулія.

— Какая тамъ еще Дулія?

— А это у насъ актерская поговорка. Понимаешь, актеръ не дослышалъ, и вмѣсто Юліи такъ ахнулъ... А ну, плесни-ка мнѣ еще махонькую.

Памва совѣтовалъ Двукраеву только не робѣть и, въ самомъ дѣлѣ, поднялъ его духъ. Дѣло пустое и не стоитъ никакихъ волненій. Предъ его уходомъ, однако, Киріакъ взялъ съ него новое торжественное обѣщаніе таить намѣреніе въ глубочайшей тайнѣ.

— Ты, братъ, меня не знаешь,—говорилъ Памва, прощаясь.—Я, братъ,—могила.

— Могила, а пахнетъ отъ могилы, какъ изъ винной лавочки, — замѣтила вдругъ оказавшаяся около дьяконица.—Насчетъ чего такого уговоръ?

Памва растерянно почесалъ въ затылкѣ. Киріакъ поспѣшилъ погасить интересъ жены и мысленно покачалъ головой. «Несолидный мужикъ! И ко всему—выпивахомъ. Выдастъ и самъ не замѣтитъ!..»

X.

Трудно было даже ожидать, чтобы по существу ничтожный случай такъ взволновалъ Двукраева.

Это было нѣчто положительно трагическое. Маленькая драмка разыгрывалась невидимо для чужихъ глазъ въ душѣ маленькаго человѣка. Для всякаго другого это была бы просто борьба желанія съ пустымъ предразсудкомъ. Для Киріака это было нѣчто серьезное.

Боролась страсть съ долгомъ, и въ самой страсти было нѣчто недостойное, преступное и несущее казнь въ себѣ, даже если бы никто со стороны и не видѣлъ его грѣха. Киріакъ былъ такъ воспитанъ, а съ воспитаніемъ ничего

не подѣлаешь. Десятки разъ онъ размахивался посвятить въ свой секретъ жену. Десятки разъ слово умолкало, и онъ переводилъ разговоръ совсѣмъ на другое.

Такъ тянулось время до того мартовскаго дня, когда Двукраевъ проснулся въ пять часовъ утра и сказалъ себѣ; «сегодня». И достаточно было сказать это слово, чтобы сонъ отлетѣлъ въ ту же секунду, какъ вспугнутая птица. Его не было уже ни въ одномъ глазѣ.

Беззаботно спала дьяконица и улыбалась во снѣ. Изъ старообразныхъ часовъ выскочила кукушка и пять разъ сказала «ку-ку». Безлистыя березки въ окнѣ подъ весеннимъ вѣтромъ качались, какъ пьяныя. Дьякону вдругъ стало жутко-радостно. Чѣмъ-то бодрящимъ повѣяло на него отъ этого знакомаго уюта, отъ кукушки, отъ веселыхъ березокъ за окномъ...

Разумѣется, все сойдетъ благополучно, и, когда все сойдетъ, онъ разскажетъ Маруськѣ о своихъ приключеніяхъ, и они посмѣются вмѣстѣ. Даже въ разговорѣ съ посторонними онъ можетъ въ шутку сказать, что тоже «слышалъ» Шаляпина. «Позвольте, какъ же?»—«Да ужъ такъ же. Не все ли вамъ равно, сударь?» «Что-жъ, вы въ театрѣ, что ли, были?» — «Можетъ быть, и былъ». Попробуй— провѣрь... И дьяконъ вдругъ поймалъ себя на широкой улыбкѣ.

И весь день Киріакъ былъ въ хорошемъ настроеніи. Только когда кукушка пропѣла семь и когда почти въ ту же минуту застучала задвижка подъ рукой Памвы,—сердце его екнуло, и имъ овладѣла тревога. На счастіе Киріака, жену удалось, не возбудивъ никакихъ подозрѣній, убрать на весь вечеръ къ подругѣ.

Въ половинѣ восьмого изъ дьяконскаго дома вышли двѣ фигуры. Одна тощая и длинная, безъ сомнѣнія, могла принадлежать только Памвѣ. Съ несомнѣнностью это устанавливалъ и нѣкоторый букетъ, который, къ огорченію Киріака, распространяла эта фигура.

Въ его спутникѣ, въ шубѣ и въ высокой барашковой

шапкѣ не сразу можно было узнать дьякона. Уже давно, нѣсколько лѣтъ назадъ, Двукраевъ передѣлалъ широкіе рукава на узкіе «свѣтскіе», потому что зимой вѣтеръ забивался въ широкіе, какъ живое шаловливое существо, и это было вѣрнѣйшимъ средствомъ пріобрѣсти великолѣпный ревматизмъ. Теперь эта передѣлка была совсѣмъ кстати.

Городъ больше освѣщался естественными средствами: луной и мѣсяцемъ; но на этотъ разъ и маленькіе керосиновые фонари казались дьякону черезчуръ яркими. У самаго театра было обѣщано освѣщеніе «a giorno». Это достигалось тѣмъ, что на стѣну, не въ примѣръ прочимъ днямъ, было набито четыре большихъ фонаря.

Былъ уже самый разгаръ съѣзда. Безтолково наѣзжали и толпились извощики. Воинствовали полицейскіе. Десятки фигуръ торопливо шмыгали въ подъѣздъ. Подъ ногами суетилась дѣтвора.

Дьяконъ сдѣлалъ маленькій секретный крестикъ засунутою за пазуху рукою и съ ощущеніемъ купальщика, вступающаго въ холодную воду, шмыгнулъ въ подъѣздъ.

— Была не была,—либо панъ, либо пропалъ!

XI.

Небольшой губернскій театръ кипитъ жизнью.

Кресла еще зіяютъ пустотою, и, если отъ суфлерской будки смотрѣть въ глазокъ занавѣса, залъ кажется чьею-то огромною пастью, усѣянною зубами. Черезъ какіе-нибудь полчаса эта пасть шумно извергнетъ крикъ осужденія или восторга.

Но галерка уже полна. Оттуда смотрятъ возбужденныя и счастливыя молодыя лица. Въ ложахъ появляются фигуры наряженныхъ дамъ. Онѣ входятъ, словно выплываютъ, точно по уговору, вытягиваютъ впередъ руки и разглаживаютъ длинныя перчатки, похожія на потягивающихся послѣ сна

кошечекъ. И за каждой изъ нихъ—парадные улыбающіеся мужчины. Внизу, въ креслахъ, усѣлись мужчины, и точно на подборъ—плѣшивые.

Все это необычно, странно, какъ сонъ, и ново для Киріака. Онъ уже сидитъ въ углу своего «передбанника» и въ полоткрытую дверь въ ложу видитъ эту картину базара житейской суеты.

Ложа у самаго борта, сильно скошенная, всего съ тремя стульями и, собственно говоря, изъ самыхъ неудобныхъ. Зато она и ходитъ дешевле всѣхъ.

Двукраевъ такъ отвыкъ видѣть этотъ блескъ позолоты, этотъ повышенный свѣтъ и торжественность нарядовъ гдѣ-либо въ иномъ мѣстѣ, чѣмъ въ церкви, что, войдя въ аванъ-ложу, онъ въ первую минуту едва не перекрестился.

Киріакъ смотритъ въ щель ложи во всѣ глаза, но душевное состояніе его странно. Сейчасъ онъ похожъ на того пѣтуха, котораго загипнотизировали мѣловой чертой, проведенной по столу отъ носа. Онъ смотритъ и почти не видитъ. Если спросить его о только-что пережитыхъ впечатлѣніяхъ, онъ едва ли дастъ въ нихъ отчетъ. Высоко ли онъ поднимался? Въ какомъ ярусѣ онъ сидитъ? Давно ли онъ вошелъ въ ложу?— Все спуталось и затуманилось.

Онъ помнитъ себя пробирающимся по освѣщенному коридору черезъ густую человѣческую толпу около вѣшалокъ, помнитъ винтъ лѣстницы, по которой онъ поспѣваетъ за шагающимъ черезъ три ступеньки Памвой. Онъ старается не смотрѣть никому въ глаза, чтобы не вызвать и на себя чьего-нибудь вниманія. Его ухо ловитъ пестрый шумъ огромнаго человѣческаго улья, и онъ съ трепетомъ ждетъ, что вотъ-вотъ сейчасъ раздастся чье-нибудь пріятельское: «А, отецъ дьяконъ, какими судьбами!» Но всѣ заняты сами собой, своими дамами, биноклями, билетами, шубами, калошами и предвкушеніемъ блаженства.

Почти остолбенѣлаго, Памва вталкиваетъ его въ полутемную ложу, и дьяконъ испытываетъ счастье, какое, вѣроятно, овладѣваетъ червемъ, только-что заползшимъ съ

солнцепека подъ сырую доску. «Это вонъ бенуаръ... Это губернаторская ложа»,—поясняетъ Памва. Случайно взглядъ Киріака падаетъ на зеркало на стѣнѣ аванъ-ложи и видитъ въ немъ длинную, нескладную фигуру, въ узкомъ сюртукѣ, съ гладко-примазанными волосами («семь коровъ лизало») и наброшеннымъ на шею чернымъ платкомъ.

Это ободряетъ Киріака, потому что въ этомъ субъектѣ не только его жена, но даже онъ самъ не призналъ бы сразу себя самого. Похоже, но какъ-будто и не онъ! Для отвода глазъ Памва входитъ въ ложу и озираетъ залъ взглядомъ диктатора.

— Народу-то, народу! Что людей!

XII.

Театръ вдругъ сталъ заполняться по секундамъ. Онъ весь точно сталъ живымъ и зашевелился, какъ муравейникъ, въ который воткнули палку.

Въ оркестрѣ нервно запищали скрипки и загудѣли валторны,—музыканты настраивались. Вдругъ, потускнѣли лампочки. Потемнѣла и совсѣмъ погасла люстра. Шумъ улья на мгновеніе усилился. Всѣ закашляли, задвигали стулья и вдругъ замерли. Стало тихо, какъ въ церкви.

Въ оркестрѣ на возвышеніе вылѣзъ черный силуэтъ человѣка. Брюки, фракъ, все на немъ было обтянуто, какъ трико. «Точно не человѣкъ, а американскій житель», подумалъ Киріакъ.

Черный человѣкъ взмахнулъ палочкой, словно кого-то ударилъ по головѣ, и скрипки вразъ весело и стройно взвизгнули.

Темный силуэтъ Памвы поманилъ Киріака въ ложу. Минута еще, и весь театръ задрожалъ отъ бездны бурно зазвенѣвшихъ и засмѣявшихся звуковъ.

Двукраевъ поднялся и вошелъ въ ложу, гдѣ теперь было темно и безопасно. По привычкѣ садясь, онъ хотѣлъ

было обдернуть рясу, но руки его поймали только жидкія фалдочки сюртука. Памва выдвинулся впередъ и заслонилъ его своей узенькой спиной.

Прошло нѣсколько минутъ. Уже блаженная улыбка выплыла на лицо Киріака. Уже подъ сладкими звуками начинала нѣжно таять его душа, какъ вдругъ онъ замеръ словно преступникъ, собравшійся бѣжать и поймавшій на себѣ чужой глазъ.

Дверь въ аванъ-ложу пріотворилась, и прямо на него упалъ изъ коридора снопъ свѣта. Чей-то мужской голосъ очевидно, капельдинера, произнесъ еще за дверью:

— Пожалуйте!

Дверь растворилась совсѣмъ, и въ нее вошелъ слегка придавленный старостью, но довольно высокій и широкій въ плечахъ человѣкъ въ черномъ элегантномъ сюртукѣ, такой благообразный и чистенькій, точно его только сейчасъ вымыли, накрахмалили и выгладили. Даже на щекахъ его былъ пріятный старческій румянецъ, и что-то небыкновенно благовоспитанное и мягкобарственное было въ томъ, какъ онъ держался, смотрѣлъ, шелъ.

Старичекъ удивленно покосился на Памву, изъ-за толстыхъ золотыхъ очковъ, уставился на Киріака и полѣзъ въ жилетный карманъ, очевидно, доставая билетъ.

— Кто-то изъ насъ ошибся!—спокойно сказалъ онъ,—очень возможно, что и я. Пожалуйте-ка сюда, Сергѣй Иванычъ!

Киріакъ растерянно крякнулъ въ октаву, самъ испугался себя и передвинулся на стулѣ. Онъ уже понималъ, что произошло какое-то нелѣпое и отвратительное недоразумѣніе, виной котораго, вѣроятно, была ранняя «муха» Памвы. Незнакомый молодой человѣкъ просунулъ голову въ дверь. За нимъ лѣзъ обезпокоенный капельдинеръ. Кто-то сердито шикнулъ изъ сосѣдней ложи.

— Позвольте билетъ, ваше превосходительство!—сказалъ молодой человѣкъ.—Ну, да, ложа шестая,—прибавилъ онъ, начиная возмущаться.—Ну, конечно, это наша! Извольте посмотрѣть,—повернулся онъ къ капельдинеру.

Подъ толчкомъ Киріака въ бокъ, Памва вскочилъ и пустился въ объясненія. Театральный служащій взялъ оба билета, понесъ ихъ къ свѣту и вскинулъ на лобъ очки, мѣшавшія ему видѣть. Секунды показались Киріаку вѣчностью. Наконецъ, недоразумѣніе разъяснилось. Ложа «его превосходительства» была ярусомъ ниже. Памва былъ не виноватъ ни душой, ни тѣломъ.

— Чортъ возьми, — влетѣлъ! — уронилъ Сварогинъ ему въ утѣшеніе, когда шаги уходящихъ уже замирали на коридорѣ...

XIII.

Двукраевъ сидѣлъ въ уютномъ углу, закрытый спиною Памвы. Въ театрѣ было темно, какъ въ могилѣ, но ему казалось, что всѣмъ видна каждая капля его пота на лбу... Настроеніе было уже разбито вдребезги. Сознаніе не улавливало ничего изъ происходившаго тамъ, внизу, на сценѣ, залитой огнями.

Громъ апплодисментовъ заставилъ его вздрогнуть. Привѣтствовали Шаляпина. Огромный, великолѣпный, въ красномъ трико Мефистофеля, онъ стоялъ посрединѣ сцены и пѣлъ. И хотѣлось смотрѣть только на него, точно никого больше не было рядомъ съ нимъ. Надо всѣмъ онъ царилъ одинъ, какъ истинный демонъ.

Съ какимъ-то грустнымъ, разочарованнымъ чувствомъ смотрѣлъ на него Киріакъ. Зачѣмъ судьбѣ нужно было отравить его безгрѣшную радость! Какое блаженство было бы со спокойною душою слушать этотъ волшебный голосъ, который ходитъ въ воздухѣ густо, широко и властно, какъ огромныя волны въ морѣ!..

Въ мягкой густотѣ этого голоса было что-то родственное голосу Киріака, но въ удивительномъ владѣніи имъ, въ поражающемъ богатствѣ и разнообразіи оттѣнковъ было нѣчто такое, что и во снѣ не снилось своеволинскому

дьякону. На минуту Двукраевъ забылся, превратившись со всѣмъ театромъ въ слухъ. Да, это былъ бы протодьяконъ, который бы сдѣлалъ честь и самому римскому папѣ!

Но стоило кончить пѣвцу и скрыться въ дыму и пламени, какъ прежнія мысли тучей облѣпили Киріака. Не проходила въ сердцѣ мелкая дрожь, и теперь уже не могло быть увѣренности, что вотъ и сейчасъ кто-нибудь снова не придетъ къ нему и не сгонитъ его съ мѣста.

Малѣйшій шорохъ на коридорѣ, одно громко сказанное капельдинеромъ слово заставляло его напряженно настораживаться и подносить къ глазамъ бинокль, чтобы спрятать лицо отъ входящаго.

Разъ и два онъ досталъ билетъ и провѣрилъ ярусы. Сердце не билось, а дрожало, и все время Киріакъ боялся кашлянуть, чтобы не выдать свою октаву. Когда въ серединѣ дѣйствія Памва поднялся, шепнулъ, что ему пора одѣваться, и ушелъ — нервное состояніе совсѣмъ одолѣло Двукраевымъ. Вдругъ, какъ школьнику изъ школы, ему мучительно захотѣлось домой, и вся затѣя показалась нелѣпой, досадной и безумной.

Въ антрактѣ весь театръ снова загорѣлся огнями. Киріакъ шмыгнулъ въ аванъ-ложу, а весь слѣдующій актъ просидѣлъ, не отымая бинокля отъ глазъ.

Но судьба уже смилостивилась надъ нимъ. До самаго возвращенія Сварогина уже никто его не побезпокоилъ. Когда онъ пришелъ, дьяконъ почувствовалъ себя, какъ ребенокъ, нашедшій потерянную мать.

— Ну, и вспотѣлъ же ты! — вырвалось у него при взглядѣ на физіономію Киріака.

— Жарко, — густымъ шопотомъ дохнулъ Двукраевъ.

XIV.

Когда дьяконъ снялъ съ себя несвойственныя ему одежды и почувствовалъ, что онъ опять у себя дома, въ Соборномъ

переулкѣ, что, стало быть, ему удалось благополучно проскользнуть и назадъ черезъ толпу расходящейся публики,— онъ съ трудомъ повѣрилъ себѣ.

Какое это было бы счастье, если бы не было этого нелѣпаго недоразумѣнія!

Жена уже лежала въ постели, но, очевидно, еще не спала. Дьяконъ безъ помѣхи разоблачился, накинулъ старенькій любимый подрясникъ съ продранными локтями и подсѣлъ на женину кровать.

— Что, секретарь сердечныхъ дѣлъ, не спишь еще? А мы у благочиннаго изрядную спѣвочку учинили. Послѣ чай пили. Хорошее у нихъ варенье съ морошки...

— Слыхалъ ли, кто пріѣхалъ?

Киріакъ былъ захваченъ врасплохъ и спросилъ растерянно:

— А кто?

— О-то! У благочиннаго былъ, а не знаешь! Финиковъ,— Терентій Иванычъ пріѣхалъ.

— Вотъ какъ!—крякнулъ Киріакъ. — Чего же это онъ у насъ не видалъ?

— На ревизію что ли ѣздилъ. Изъ Херсона, говорятъ, домой возвращается...

...Терентія Ивановича Финикова въ духовномъ мірѣ могли не знать только грудные младенцы.

Это былъ видный синодскій дѣлецъ, настолько видный, что портреты его обошли уже всѣ иллюстраціи, звали его всѣ просто по имени и отчеству, и всякій разъ, какъ оберъ-прокуроръ становился слабъ, и предвидѣлись перемѣщенія, гласъ народа прочилъ Терентія Ивановича не больше, ни меньше, какъ въ товарищи новому сановнику.

Въ духовномъ міркѣ Терентій Иванычъ слылъ за большого богомольца и любителя, и церковнаго благолѣпія, и народной пѣсни. Въ молодости у него самого былъ хорошій голосъ, и среди многочисленныхъ анекдотовъ о немъ было не мало такихъ, гдѣ недоразумѣніе основывалось просто на томъ, что онъ иногда любилъ и теперь становиться на клиросъ съ простыми пѣвчими.

Разсказывали, что онъ былъ большой любитель голосистыхъ дьяконовъ, любилъ ихъ «перетаскивать» изъ провинціи въ Петербургъ и запросто съ ними бесѣдовать.

Повертываясь съ боку на бокъ, Киріакъ только что вспомнилъ эту подробность о Терентіи Иванычѣ, какъ вдругъ тонкая, какъ иголочка, мысль пронзила его мозгъ, и на мгновеніе онъ такъ и застылъ въ неподвижности.

— Такъ вѣдь это же и былъ Терентій Иванычъ! Съ нимъ-то ты и имѣлъ честь познакомиться, — сказалъ въ немъ какъ-будто кто-то другой.

Дьяконъ приподнялся, свѣсилъ ноги съ постели, уставился въ темный уголъ, словно пораженный столбнякомъ, и чуть не вслухъ сказалъ себѣ:

— Съ чѣмъ васъ и поздравляю!..

XV.

Жуткую ночь пришлось провести бѣдному Киріаку.

Неотвязная мысль о петербургскомъ чиновникѣ выбила изъ головы все остальное и нагло воцарилась въ мозгу. Какъ всегда, впечатлѣнія дня окрасились какими-то зловѣщими, пугающими тонами. Долго ворочался онъ съ боку на бокъ. Жена уже успѣла уснуть и проснуться, а онъ на ея вопросъ,—«все еще не спишь?»—долженъ былъ отвѣтить, что не можетъ заснуть.

Забылся онъ поздно, и былъ это не сонъ, а кошмаръ.

Снилось ему, будто какими-то судьбами, не иначе, какъ насмѣшкой судьбы, онъ, въ стихарѣ и съ кадиломъ, вдругъ появляется въ театральной ложѣ. Весь театръ горитъ огнями, какъ соборъ въ Пасху, и его видно отовсюду, какъ горошину на ладони. Но странно,—его, повидимому, еще никто не видитъ. «Можетъ быть, ускользну, и не замѣтятъ,— мелькаетъ у него радостная мысль, — только бы скорѣе пришелъ Памва».

Но Памва стоитъ на сценѣ у рампы, въ красныхъ охот-

ничьихъ сапогахъ, въ широкополой шляпѣ, съ павлиньимъ перомъ, и улыбается ему скверной ехидной улыбкой. «Пронеси, Господи, чтобы не замѣтили,»—думаетъ Киріакъ, но серебро стихаря такъ и горитъ подъ газовымъ свѣтомъ.

И вдругъ не по какимъ-нибудь видимымъ признакамъ, а какъ-то инстинктивно, таинственно дьяконъ чувствуетъ, что его замѣтили. Главный ужасъ въ томъ, что уже всѣ знаютъ это, но, какъ сейчасъ онъ таился ото всѣхъ,—такъ теперь всѣ почему-то, до поры, до времени, таятся отъ него.

Минута, — и какое-то пугающее движеніе начинается въ ложахъ. Плѣшивыя головы поворачиваются въ креслахъ и смотрятъ вверхъ, и ищутъ, гдѣ тутъ соборный дьяконъ. Жирныя дамы съ двойными подбородками протягиваютъ къ нему толстыя руки въ перчаткахъ и показываютъ на него пальцемъ, какъ Вій на Хому Брута...

Кто-то пронзительно свистнулъ въ ключъ на самомъ верху галерки. Въ нижнихъ ложахъ начинаютъ тоже свистѣть, шикать и кричать, показывая на него пальцами. Въ самомъ дѣлѣ, какая наглость—прійдти въ театръ въ стихарѣ! Гдѣ была его бѣдная совѣсть! И кто дернулъ его такъ одѣться!

Онъ хочетъ встать и роняетъ стулъ съ рѣзкимъ шумомъ. И вотъ уже и актеры со сцены кричатъ:

— Выведите его вонъ!

Всѣ вскакиваютъ со своихъ мѣстъ. Толпа внизу сгущается. И среди нея Киріакъ видитъ дьякона отъ Воздвиженья, безброваго Іону, которому онъ «перебѣжалъ» мѣсто въ соборъ. Съ тѣхъ поръ Іона его врагъ, и ясно, зачѣмъ онъ сюда пришелъ,—ясно по скверной улыбкѣ и по тому какъ онъ злорадно потираетъ на животѣ руки. Видно, съ какимъ удовольствіемъ онъ сейчасъ провозгласитъ ему за нарушеніе вѣкового закона торжественную анаѳему.

Киріакъ хочетъ говорить, хочетъ умолять, чтобы ему позволили оправдаться, но его языкъ прилипъ къ гортани. Хочетъ встать, но только больше и больше валитъ со сту-

комъ стулья. Хочетъ крикнуть, и чувствуетъ, что ему нечѣмъ дышать.

XVI.

Подъ огромнымъ усиліемъ воли Двукраевъ проснулся, тяжело дыша и весь въ холодномъ ужасѣ. Буквально потъ выступилъ на его лбу. Онъ не сразу успокоился, и когда опять заснулъ, ему снова начала сниться какая-то дрянь.

Мысли сновали, какъ противныя крысы, и прорѣзали покой сна. Какъ-то еще повернется дѣло? Нѣтъ тайнаго, что не стало бы явнымъ! А что, если ошельмуютъ и пошлютъ недѣльки на двѣ въ монастырь чистить окуней? Человѣкъ архіереями бросается! А что, если переведутъ куда-нибудь въ глушь? И съ какой-то прощальною ласкою Киріакъ сквозь сонъ видѣлъ свой домъ, садишко, соборную ограду...

Онъ проснулся въ убійственномъ настроеніи. Колебанія были недолговременны, и онъ все разсказалъ женѣ. Глубокое огорченіе отразилось на лицѣ дьяконицы. Онъ ждалъ отъ нея утѣшенія, но жестоко ошибся.

— Ну, что, братъ, Маруська, скажешь въ свое оправданіе?

Марья Степановна вздохнула, покачала головой и сказала:

— Скотина ты, скотина! Легче бы, если-бъ я увидѣла, что ты пьяный въ канавѣ валяешься!..

Киріакъ понурилъ повинную голову и не сказалъ ни слова.

...День, однако, разогналъ безумныя мысли ночи. Все представилось въ подлинныхъ размѣрахъ, обыденнѣе, проще.

Разъ или два самъ Киріакъ улыбнулся на свои мысли о томъ, какъ, въ сущности, курьезно, что такой человѣкъ, какъ онъ, попалъ въ такое непристойное учрежденіе, какъ театръ. Вспоминались и освѣщались юмористически нѣкоторыя подробности, надъ которыми при другихъ обстоятельствахъ онъ самъ посмѣялся бы первый.

Какъ забавно онъ представилъ бы въ лицахъ эту неожиданную встрѣчу въ ложѣ, будь на мѣстѣ его кто-нибудь другой! Никогда еще ему не приходилось видѣть столько народу сверху. Вотъ, ежели бы всѣхъ плѣшивыхъ отобрать и посадить въ центръ,—подумалъ онъ и опять усмѣхнулся.

А надо всѣмъ этимъ взлетала одна мальчишески задорная мысль,—«а все-таки слышалъ», «а все-таки видѣлъ!..»

И самая встрѣча съ такой высокой персоной! Случись она въ другихъ условіяхъ,—Киріакъ, конечно, прозвонилъ бы о ней по всему городу.

Когда на другой день послѣ спектакля пришла газетка, и въ приложеніи къ ней дьяконъ собственными глазами увидѣлъ на одной страницѣ портретъ Шаляпина, а на другой Финикова,—у него уже не могло оставаться никакого сомнѣнія, что онъ видѣлъ вчера и того, и другого.

Только синодскій воротила былъ на портретѣ моложе, и выраженіе заученной «дежурной» ласковости на его лицѣ тамъ было замѣнено начальственною строгостью.

XVII.

Разговоръ съ Сварогинымъ и совсѣмъ ободрилъ Киріака. Стаканчикъ даже вовсе забылъ о вчерашнемъ приключеніи и не сразу понялъ, о чемъ, собственно, безпокоится дьяконъ. Сообразивъ, о чемъ идетъ рѣчь, онъ сдѣлалъ презрительное лицо и отмахнулся рукой.

— Совсѣмъ ты—преподобная мати Плакида,—сказалъ Памва.—Того ли онъ, братецъ, въ Питерѣ насмотрѣлся! Тамъ заслуженные протоіереи въ оперу-то ходятъ. Камилавку въ шкапъ да и на лихача. За милую душу! Можетъ, онъ самъ съ ними рядышкомъ въ буфетѣ мадеру пьетъ. Эка ты ему невидаль, подумаешь. Не падай юхомъ, Дулія! Нѣ-ѣтъ, теперь не старыя времена! Теперь скоро поповъ и всѣхъ въ сюртуки одѣнутъ. По-заграничному. А волосы будешь стричь ежикомъ.

Дьяконъ засмѣялся и, хотя сейчасъ же вздохнулъ, но это ужъ было похоже на дождикъ сквозь солнце. Къ вечеру удалось разсѣять и огорченно-презрительное настроеніе жены. Она значительно успокоилась въ ту минуту, когда почувствовала, что у самого Киріака уже не скребутся кошки на сердцѣ.

Вечеромъ дьяконъ снесъ газетку съ приложеніемъ къ протопопу, съ которымъ выписывалъ ее въ складчину, и будто мимоходомъ спросилъ:

— Ну, что, слыхали, кто въ нашемъ городѣ-то гоститъ?

— Какъ не слыхать, отецъ! Кстати, вотъ что. Небось, завтра онъ на всенощную въ соборъ придетъ. Понатужься и принарядись. Чего добраго, придется тебя представить,— говорятъ, хорошіе голоса любитъ.

Киріакъ вдругъ испуганно замахалъ рукой и заерзалъ на мѣстѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, о. протопопъ! Увольте меня отъ этой чести.

— Что такое? Почему?

— Да ужъ такъ, увольте. Ужъ очень я васъ объ этомъ прошу. Я человѣкъ не общественный. Объ чемъ мнѣ съ нимъ говорить? Я еще что-нибудь такое скажу при немъ не по этикету. При нихъ и сморкаться-то надо умѣючи. Скажите, дьяконъ, молъ, у насъ человѣкъ дикій. Не разговорчивый. Изъ него, молъ, палкой слова не выколотишь. Ужъ сдѣлайте мнѣ такое одолженіе, прошу васъ.

XVIII.

Терентій Иванычъ, дѣйствительно, пожелалъ осмотрѣть соборъ. Протопопъ водилъ его и все ему торжественно показывалъ.

Высокій гость оказался очень свѣдущъ въ археологіи, не только осмотрѣлъ, но, кажется, обнюхалъ каждую достопримѣчательность, прикинулъ на рукѣ вѣсъ стариннаго,

петровской поры омофора въ ризницѣ, заинтересовался заставками въ старопечатномъ Апостолѣ и наизусть перечислилъ, въ какихъ церквахъ и монастыряхъ еще сохранился такой же.

Старичекъ былъ разговорчивъ и держалъ себя безъ всякой спѣси и надутости, вѣроятно, просто оставилъ все это тамъ, въ Петербургѣ, для парадныхъ выѣздовъ, для подобныхъ себѣ звѣздоносцевъ и для докучныхъ просителей. А здѣсь въ чужомъ городѣ, отдыхая отъ чванства, хотѣлъ быть тѣмъ обыкновеннымъ человѣкомъ, какимъ великіе люди бываютъ для своего камердинера.

Онъ показалъ видъ, что все ему нравится, одобрилъ знаменный распѣвъ, принятый въ соборѣ, при чемъ и здѣсь обнаружилъ знаніе, и похвалилъ дьякона,—настоящій протодьяконъ, настоящій!

— Онъ собственно, ваше превосходительство, не протодьяконъ. Онъ — вторствующій. Протодьяконъ у насъ болѣетъ.

— Недавно онъ у васъ?

— Давно, ваше превосходительство. Представьте, лѣтъ, пожалуй, пятнадцать!

— Вотъ какъ! А мнѣ что-то почудилось, точно я его гдѣ видѣлъ. Ну, вотъ знакомое лицо,—что хотите.

— Безвыѣздно, ваше превосходительство, лѣтъ пятнадцать. А ужъ двѣнадцать навѣрное.

...Своеволинское духовенство и чиновничество возымѣло намѣреніе засвидѣтельствовать высокому гостю свое уваженіе прощальнымъ обѣдомъ. Высокій гость отклонилъ честь, но отъ обѣда у архіерея не отказался.

Наканунѣ послѣ вечерни протопопъ взялъ Киріака повыше локтя и сказалъ:

— Мускулатура у тебя здоровая. Но вотъ что, братецъ. Завтра у владыки служимъ молебенъ «о въ путь шествующимъ». Остаемся и на обѣдъ,—владыка черезъ келейника предварялъ. Медаль не забудь!

И видя, что дьяконъ весь вскинулся, чтобы начать

возраженія, протопопъ нахмурилъ брови и рѣзко сказалъ:

— Ну, безъ пустяковъ. Безъ четверти двѣнадцать быть въ архіерейскомъ домѣ. Ризы свѣтлыя съ яблочками...

XIX.

Владыка былъ изъ старыхъ, изъ малоталантливыхъ и малопреуспѣвающихъ.

Въ Своеволинскѣ онъ пребывалъ уже долгое время безъ всякаго «пошевелу», и въ сферахъ давно считали его пѣсенку спѣтой. Уже чувствовалось, что отсюда ему одна дорога — только на покой, но въ то время, какъ всѣ это знали, и въ синодѣ открыто говорили, одинъ только онъ показывалъ видъ, что совершенно объ этомъ не догадывается.

Изъ Своеволинска шли о немъ къ столицамъ довольно кислыя вѣсти. Говорили, что онъ слабоволенъ, распустилъ епархію, что единственная отмычка къ его сердцу, консисторскій протопопъ Отмычкинъ, которому онъ чрезмѣрно довѣрился, что духовенство у него вольничаетъ и пьетъ, а про собственныя его безтактности ходили анекдоты.

Уже былъ случай, когда изъ Петербурга подсылали къ нему подъ какимъ-то благовиднымъ предлогомъ довѣреннаго чиновника съ великолѣпной бородой, чтобы посмотрѣть владыку «на мѣстѣ» и выяснить, насколько онъ терпимъ.

Отзывъ оказался ни то, ни се, потому что догадливый преосвященный окружилъ эксперта-соглядатая такой атмосферой ухаживанія и благости и съ мѣста устроилъ его родственника на такое удобное мѣсто, что іеро-шпіонъ, хоть и очень привычный въ такихъ дѣлахъ, не нашелъ въ себѣ силы отплатить «славному старцу» черной неблагодарностью.

Лѣтъ пять назадъ владыку вызвали въ Петербургъ. Исидоръ издалека намекнулъ, что онъ удивляется, какъ

это преосвященный въ такихъ лѣтахъ не жалуется на утомленіе дѣлами. Преосвященный также невинно отвѣтилъ, что онъ одушевляется примѣромъ владыки-митрополита, который-де въ еще большихъ лѣтахъ несетъ горшую тяготу и обходится безъ помощниковъ.

Улыбаясь въ усъ, митрополитъ подтрунилъ въ синодѣ надъ преосвященнымъ и, чтобы сохранить волковъ сытыми и овецъ цѣлыми, тамъ просто рѣшили дать ему поумнѣе викарія, кстати носившаго его же имя. Въ іерархическихъ кабинетахъ ихъ такъ и различали: N умный и N неразумный. Но до преосвященнаго эта шутка не доходила, и онъ безмятежно доживалъ свой вѣкъ на посту.

XX.

Отъ дней молодости у владыки сохранилась одна слабость. Онъ считалъ себя большимъ юмористомъ.

Мѣстомъ же для преимущественнаго проявленія своего остроумія онъ обыкновенно избиралъ учебныя заведенія. Можно было подумать, что для него большимъ удовольствіемъ было ставить мальчугановъ-гимназистовъ или подростковъ-епархіалокъ въ недоумѣніе какимъ-нибудь спеціально придуманнымъ вопросомъ.

— Иродъ избилъ младенцевъ. Сгнили младенцы. Какимъ образомъ можно было узнать по костямъ дѣтей, сколько было мальчиковъ и сколько дѣвочекъ?

Гимназисты пыхтѣли и мяли ремни, епархіалки краснѣли до слезъ и конфузились. Учителя почтительно улыбались.

Когда не только стоявшая у стола, но и сидѣвшая на партахъ молодежь оказывалась не въ силахъ разрѣшить мудреную загадку, довольный владыка самъ разрѣшалъ ее:

— Невнимательны, чада, невнимательны! Только младенцевъ мужского пола избивалъ Иродъ, — только мужского, запомните...

Въ другомъ мѣстѣ владыка ставилъ втупикъ учениковъ вопросомъ о томъ, какъ будутъ издавать въ аду скрежетъ зубовный люди, еще при жизни лишившіеся зубовъ.

Въ третьемъ уже не только учениковъ, но и учителей онъ заставлялъ недоумѣвать, какъ можно «въ явѣ» увидѣть двѣнадцать колѣнъ Израилевыхъ. Оказывалось, это очень просто. Нужно было только посадить противъ себя шестерыхъ евреевъ.

Въ четвертомъ мѣстѣ точно такъ же и учитель, и ученики недоумѣвали, что это такое: «гробъ плыветъ, во гробѣ мертвый поетъ».

И владыка такъ весело потиралъ руки и улыбался хитрой стариковской усмѣшкой, когда никто не догадывался, что это Іона во чревѣ кита, точно это доставляло ему большое удовольствіе.

Шутки и остроты владыки запоминались и ходили по городу. Семинаристы собирали ихъ въ тетрадочки и дѣлали надъ ними саркастическое заглавіе «Полное собраніе словъ и поученій N, епископа старогорскаго и своеволинскаго».

XXI.

Терентій Иванычъ стоялъ, разумѣется, въ архіерейскомъ домѣ. Въ залѣ отслужили ему молебенъ «въ напутствіе», а потомъ перешли въ сосѣднее помѣщеніе, гдѣ уже былъ накрытъ столъ не болѣе, какъ человѣкъ на двѣнадцать,— исключительно мужчинъ.

Изъ уваженія къ гостю, владыка вырядился въ рясу, панагію и звѣзду. Терентій Иванычъ сидѣлъ одесную его. Ошую былъ посаженъ архимандритъ, ректоръ семинаріи. Соборный староста, купецъ изъ милліонеровъ, секретарь консисторіи и двое учителей богословія изъ семинаріи были единственными свѣтскими лицами.

Двукраевъ пропустилъ протопопа поближе къ центру, а самъ почтительно устроился на концѣ стола съ учителемъ

гомилетики по той сторонѣ, съ которой сидѣлъ и Финиковъ. Такъ все-таки взглядъ сановника могъ поймать его съ трудомъ, а, съ Божьею помощью, и совсѣмъ не поймать...

Преосвященный, какъ сѣлъ, такъ и завелъ себя. Сказалъ какую-то прибаутку, самъ засмѣялся надъ ней первый и сталъ рекомендовать высокому гостю свой нравъ.

— Ужъ не взыщите, ваше превосходительство,—простъ. Люблю правду-матку рѣзать. За сію добродѣтель, можно сказать, и въ дѣвушкахъ засидѣлся. Младшіе товарищи,—да чего,—ученики на архіепископскихъ каѳедрахъ, а я все старогорскій и своеволинскій. Еще въ первые годы архіерейства, въ бытность мою въ Москвѣ, занедужилъ высокопреосвященный Макарій. Говорили,—рыбой объѣлся. Потянулъ меня лукавый за языкъ сказать: «и праведники погибали отъ звѣрей!»...

Владыка, не дожидаясь одобренія Финикова, залился веселымъ стариковскимъ смѣхомъ, обнаруживъ одну сторону рта въ томъ состояніи, въ какомъ человѣку, даже попавши въ адъ, уже невозможно скрежетать.

— Да! «И праведники погибали отъ звѣрей»,—любовно повторилъ онъ.—Какъ-то такъ невольно съимпровизировалось. Что же-съ? Доложили добрые люди владыкѣ. Можетъ, и еще пріукрасили. Много добрыхъ людей на свѣтѣ,—ой, много. Ну-те-съ, встрѣчаемся какъ-то на хиротоніи. Вижу, владыка смотритъ на меня и не зритъ. Такъ таки точно сквозь меня, какъ сквозь пустое мѣсто или стекло смотритъ. На обѣдѣ въ лаврѣ вижу, со всѣми благостенъ и привѣтливъ, новонареченнаго обласкалъ, а меня для него опять—словно нѣтъ. Подошелъ я, что-то почтительно спросилъ. Отвѣчаетъ односложно и профиль свой мнѣ показываетъ. Ну, вижу, «доложили». Что-жъ, насильно милъ не будешь! Такъ никогда мнѣ этого митрополитъ и не простилъ. А можетъ, не разъ и въ синодѣ припомнилъ... Да, думаю такъ, что припомнилъ.

XXII.

Владыка далъ минутку гостю вспомнить, съ своей стороны, какой-то анекдотъ кстати и опять, должно быть, на правахъ хозяина, взялъ слово.

— Въ бытность мою викаріемъ въ К. тоже создалъ я себѣ своимъ неумѣреннымъ языкомъ коллизію. Про меня, ваше превосходительство, говорятъ, будто я великій софистъ и на экзаменахъ мудреные задаю вопросы. Къ примѣру: «въ какой битвѣ четверть рода человѣческаго погибла?». А? Ну, что, братіе, въ какой?—фамильярно повернулся онъ къ гостямъ поплоше.—Въ какой? То-то и оно. И тамъ тоже молчокъ. Заядлые учителя исторіи недоумѣвали. «Какъ же это, говорятъ, владыко, провѣрить»?.— А я говорю: «Я провѣрю». Когда Каинъ Авеля убилъ,—вотъ оно когда. Тогда, кромѣ нихъ-то, и на всемъ мірѣ еще два человѣка жили.

Архіерей сдѣлалъ вдругъ серьезное лицо.

— Добрые люди опять доложили, на этотъ разъ моему примасу. Викарій-молъ вотъ на экзаменахъ закона Божія несоотвѣтственно балагуритъ. Тэкъ-съ. Сошлись мы съ нимъ вкупѣ на одномъ засѣданіи,—онъ меня и пришпиливаетъ.—«Присмотрите, говоритъ, преосвященный, чтобы законоучители на урокахъ не задавали неблаговидныхъ вопросовъ, не балагурили. Есть, молъ, такіе любители». Эге, вижу, вонъ оно на чью грудь орденъ. И нарочито ему отвѣчаю:—«Паче меня, владыка, на экзаменахъ никто не балагуритъ, однако же, отъ этого никому, кромѣ сплетниковъ, нѣтъ досады, а дѣтямъ не все же нахмурясь сидѣть,—не грѣхъ иногда и улыбнуться»... И то же,—создались отношенія не очень великолѣпныя...

Продолжая возліянія, перешли на нравы синодаловъ, на всевластнаго прокурора, на петербургскія распри владыкъ, тягающихся изъ-за того, кому раньше подписать синодскій указъ. Терентій Иванычъ на этотъ счетъ былъ жи-

вою лѣтописью и помнилъ чуть не Гавріила Петербургскаго. Онъ тоже разошелся и цѣплялъ анекдотъ за анекдотомъ.

Неожидано перешли на дьяконовъ, и Финиковъ очень комично представилъ, какъ недавно одинъ тщедушный и всегда больной архіерей просилъ убрать отъ него громогласнаго протодьякона.

— Я, говоритъ, его пугаюсь. Нѣтъ, вы замѣтьте выраженіе, ваше преосвященство: пугаюсь! У него, говоритъ, и видъ такой звѣроподобный и голосъ, а я человѣкъ нервный...

Терентій Иванычъ вдругъ какъ-бы обезпокоился, вытянулъ шею, точно выискивая кого-то за столомъ и, встрѣтившись взглядомъ съ Киріакомъ, вдругъ бросилъ ему черезъ столъ:

— А вотъ, о. дьяконъ, скажите вы мнѣ, гдѣ я в а с ъ видѣлъ?.

XXIII.

Киріакъ, давно чувствовавшій себя такъ, какъ если бы онъ сидѣлъ на гальванической батареѣ, увидѣлъ, что ему подходитъ совсѣмъ конецъ. «Притворяется, каналья, али и впрямь забылъ?»—подумалъ онъ. Но лицо серьезно, и въ глазахъ нѣтъ ехидныхъ огоньковъ.

И дьяконъ усиленно заморгалъ и рѣшилъ не сдаваться до послѣдняго.

— Не могу вамъ сказать, ваше превосходительство.

— У Исаакія, напримѣръ, никогда не служили?

— Не имѣлъ такой чести.

— А вотъ знакомое да и знакомое лицо!

— Замѣчательно. Мо... можетъ быть, у меня есть двойникъ, самъ себѣ не вѣря, подсказалъ Двукраевъ, чувствуя, что онъ летитъ по наклону внизъ и, можетъ быть, самъ запутываетъ себя въ петлю.

— Общецерковный типъ!—замѣтилъ молчаливый ректоръ.—Въ нашемъ сословіи удивительно, ваше превосходительство, сохраняются черты. Даже въ почеркахъ, замѣчаю, есть что-то общее...

— Вы духовнаго происхожденія?—полюбопытствовалъ у Киріака Финиковъ.

— Такъ точно, ваше превосходительство.

Синодалъ, повидимому, уже готовъ былъ кончить свое инквизиціонное разслѣдованіе, какъ вдругъ владыка пришелъ ему на смѣну.

— А я знаю одинъ дьяконскій секретъ, — намѣренно коварнымъ, «провокаторскимъ», какъ мысленно опредѣлилъ дьяконъ, голосомъ, сказалъ онъ. — Не хорошо, о. Кіріакъ! Жили ладно и вдругъ, не предупредивши, не посовѣтовавшись...

— Собственно... относительно, то-есть, чего?—забормоталъ Двукраевъ.

— Не одобряю. Не по-сыновнему...

Архіерей переждалъ минуту, безконечную для дьякона, какъ огненная пытка вѣчности, потомъ повернулся къ Финикову, какъ бы съ шутливой жалобой и пояснилъ:

— Сманиваетъ его преосвященный захолмскій. Пишетъ мнѣ про то тамошній знакомый протоіерей, а онъ—молчокъ. Да не отпущу, дипломатъ,—отложи попеченіе. Самому нуженъ!

Точно какая-то злая сила, державшая Киріака въ тискахъ, вдругъ отпустила его, и весело, совсѣмъ уже не такъ, какъ бы того требовалъ этикетъ архіерейскаго обѣда, онъ засмѣялся молодымъ и независимымъ смѣхомъ.

— Ну, ваше преосвященство, я же имъ отвѣтилъ, что мнѣ и тутъ ладно.

— Тамъ тебя «пугаться» будутъ, — наставительно закончилъ владыка,—соборикъ маленькій, архіерей худенькій. Нѣтъ, дипломатъ, оставайся лучше у меня... А, позвольте, однако, вамъ подлить, ваше превосходительство...

Съ этимъ кончились злоключенія дьякона, на этомъ и

должна быть поставлена послѣдняя точка въ нашемъ правдивомъ разсказѣ.

Въ тотъ же вечеръ звѣздоносный чиновникъ уѣхалъ, а съ нимъ разсѣялся и дьяконскій чадъ, создавшій для него кошмарную ночь и нѣсколько безпокойныхъ дней.

Теперь нервы Кириака въ полнѣйшемъ порядкѣ. Когда заговариваютъ о Шаляпинѣ, онъ вставляетъ въ разговоръ свое авторитетное мнѣніе, говоритъ о немъ, какъ человѣкъ, его слышавшій, и, если его спрашиваютъ, гдѣ это ему удалось, онъ спокойно отвѣчаетъ:

— Да такъ, въ одномъ частномъ домѣ...

Чтобы покончить съ этой исторіей совершенно, надо еще на минуту вернуться къ почтенному Терентію Ивановичу. Въ покойномъ купе перваго класса, сановникъ проспалъ почти всю дорогу до Петербурга сномъ, правда, не очень крѣпкимъ и постоянно перемежающимся, но пріятнымъ.

Мерещился ему уютный Своеволинскъ, привѣтливый архіерей, красивый валъ съ густымъ садомъ, соборъ съ эффектнымъ дьякономъ, скромненькій, на его столичный глазъ, театрикъ, гдѣ совсѣмъ невзначай довелось ему послушать и Шаляпина...

Вспомнилась ему и маленькая ложа, куда онъ сначала попалъ по недоразумѣнію, и смущенный человѣкъ, котораго онъ пытался было изъ нея выселить. И вдругъ, словно гдѣ-то въ отдаленномъ уголкѣ его мозга, открылась окошечко, и Терентій Ивановичъ совершенно ясно почувствовалъ:

— Такъ вѣдь, вонъ же гдѣ я видѣлъ дьякона-то!

Однимъ анекдотомъ въ его обиходѣ стало больше, и Терентій Ивановичъ легко и пріятно задумался надъ шалостями человѣческой психологіи...

ДРЕВО ИСКУШЕНІЯ.

I.

— Обратите вниманіе на сію игру природы.

Я поднялъ голову и чуть не ахнулъ. Медленнымъ шагомъ, словно бы слегка припадая на одну ногу, на насъ надвигался высокій пергаментный старикъ, въ толстыхъ стариковскихъ очкахъ, сквозь которые смотрѣли измученные и мертвые глаза, безъ смысла и блеска.

Что-то злое и мертвое было въ этомъ лицѣ, съ узкими стиснутыми губами, и мертвенное во всей негнущейся фигурѣ, не тощей, а высохшей. Старикъ держался прямо и чутко, какъ держатся скелеты въ стеклянныхъ шкапахъ,— чудится: дотронись, и онъ разсыплется.

Но въ огромной цѣпкой рукѣ, впившейся въ трость, не чувствовалось ни малѣйшей дрожи, и въ шагѣ не было старческой невѣрности. Точно шелъ не человѣкъ, а изумительно ноддѣланный подъ человѣка автоматъ, и ухо невольно прислушивалось,—не слыхать ли легкаго скрипа...

— Побѣдоносцевъ! вырвалось у меня.

— Похожъ,—согласился мой спутникъ.—Это такъ называемая у насъ «Чугунная просвира». Вотъ вы давеча искали достопримѣчательностей въ нашемъ городѣ, и вамъ не понравились ни іоасафовъ омофоръ, ни рукомойникъ, въ которомъ мылъ руки какой-то изъ Святославичей. «Чугунная просвира»—это нашъ живой раритетъ.

II.

Широкая улица большого провинціальнаго города была малолюдна. На каланчѣ, прямо передъ нами, ходилъ пожарный съ зонтикомъ отъ солнца. На углахъ пестрѣли саженныя афиши, возвѣщавшія о гастроляхъ какого-то Самойлова-Таврическаго. Метнулась въ глаза вывѣска—«Портной Музыкантъ». Это была настоящая Русь, какой не поддѣлаешь, какъ не сочинишь такого типичнаго старика-унику!..

— Это бывшій секретарь нашей консисторіи, Ананія Давидовичъ Скудрулъ,—продолжалъ мой собесѣдникъ.—Совѣтую: познакомьтесь,—пригодится. Оригинальный человѣкъ. Обладатель единственнаго въ обоихъ полушаріяхъ «музея самоубійцъ».

— То есть?

— Видите ли, по старому уставу,—не знаю, какъ нынче,—самоубійцы (я хочу сказать, неудавшіеся самоубійцы) находились въ такомъ же вѣдѣніи консисторіи, въ какомъ и у судебныхъ слѣдователей. По разрѣшеніи въ гражданской инстанціи, всякое дѣло о неосуществившемся самоубійствѣ препровождалось въ духовную консисторію при соотвѣтственной бумагѣ. «Консисторіи предлагается такому-то имя-реку, покушавшемуся на самоубійство, преподать нравственное увѣщаніе и установить слѣдуемую по канонамъ эпитимію». Конечно, больше формальность. Выйдетъ въ коридоръ усталый протопопъ, которому адски некогда, скажетъ десятокъ словъ:

— «Какъ же это, молъ, ты такъ, братецъ. Жизнь есть даръ Божій, а ты вонъ что задумалъ, да еще безъ дозволенія начальства!..».

Возьмутъ съ человѣка подписку, что увѣщаніе онъ къ свѣдѣнію принялъ и отпустятъ его на всѣ четыре стороны. Орудія же пытки — всѣ эти револьверы, ножи, банки и стклянки со всякой ядовитой дрянью, даже припечатанныя

веревки, — все это оставалось тутъ же при консисторіи и поступало въ собственность главнаго секретаря.

III.

— Разумѣется, никакой тутъ отчетности не полагалось. На револьверы поначалу находились охотники, но Ананія Давидычъ съ мѣста ихъ осадилъ, на веревки же даже сторожа не зарились, потому что это, собственно говоря, не «заправдашняя» веревка удавленника, которая счастье человѣку приноситъ, а ни то, ни се.

Ну-съ, и вотъ за 23 года, какъ у насъ Скудрулъ служилъ, накопился у него цѣлый арсеналъ подобныхъ смертоубійственныхъ орудій и снадобій. По сосѣдству съ кабинетомъ у него подъ это цѣлая комната была отведена, и мнѣ тамъ не разъ бывать доводилось. Довольно чудное, доложу вамъ, впечатлѣніе. Стклянки эти съ адамовой головой на косточкахъ, финскіе ножи, топоры, веревки, то тоненькія, то такія, что хоть быка вѣшай; по совѣсти сказать, вчуже становилось иной разъ препротивно и прежутко. Больно ужъ много сюда всякой человѣческой муки налипло, на всѣ эти пистолетныя дула и бритвенныя лезвія.

Ему же это, должно быть, доставляло своеобразное удовольствіе. Философъ, надо полагать, былъ, и это его на размышленіе о величіи смерти настраивало. Бывало, такъ и обрадуется каждой обновкѣ. Ежели въ крови, велитъ нашему сторожу къ своему уходу со службы отчистить и лучшему нашему писарю къ каждой вещи какъ бы паспортъ каллиграфическій написать:

— «Покушался, молъ, на преступное самоубійство такой-то телеграфистъ или такая-то мѣщанка, мѣсяца, числа и года, лѣтъ такихъ-то, отъ нераздѣленной любви или отъ проигрыша».

И самъ собственноручно краснымъ сургучемъ ярлычекъ припечатаетъ и самолично домой снесетъ и номеромъ по-

мѣтитъ. Иной разъ, въ лѣтній день, провожаешь его до дому,—идетъ Чугунная просвира и философствуетъ:

IV.

— Дѣвица,—говоритъ,—19 лѣтъ. Средство—стрихнинъ. Родомъ дворянка. Злое средство! Хорошенькая, вѣроятно. Какъ вы думаете, Антонъ Петровичъ,—хорошенькая?

— Очень, говорю, возможно, Ананія Давидычъ. — Отъ измѣны травилась,—значитъ, кто-то прежде, чѣмъ измѣнить, полюбилъ, а полюбилъ, такъ значитъ, было за что.

— Да, говоритъ, вѣроятно, вы правы. Вѣроятно, вы правы. Брюнеточка,—я такъ думаю. Глаза этакіе—немножко восторженные. Наслѣдственная, можетъ быть, повышенность и нервность. Маленькой, этакой дрожащей ручкой открывала эту самую пробку. Въ грудкѣ-то Везувій! Грудка-то ходуномъ ходитъ. Никого въ комнатѣ. Тишина звенитъ. Ночь, конечно. Какъ вы думаете, ночь?

Противно мнѣ, но ничего—отвѣчаю:

— Возможно, что и ночью.

— Вѣроятнѣе, что ночью. И вотъ самое жуткое, какъ она горлышко этой самой стклянички ко рту подносила. Глазъ отъ нея оторвать не можетъ. Самогипнозъ! И въ эту минуту, небось, всю свою жизнь вспомнила. Маменькину ласку, папенькину руку на своей головкѣ. И она еще дѣвочка, въ бѣломъ платьицѣ, къ причастью идетъ... Тяжело, Антонъ Петровичъ,—ухъ, тяжело!

Говоритъ это, а у самаго глаза масленые, и мерзопакостная улыбка губу кривитъ, и рука стклянечку любовно прижимаетъ, какъ рука алкоголика бутылку. Садистъ, что-ли, былъ—чортъ его пойметъ, али просто беллетристъ въ немъ погибалъ, а только, какъ разстанешься съ нимъ, такъ такое ощущеніе, точно головастика въ молокѣ проглотилъ: тошнитъ.

— Но позвольте, при чемъ же тутъ, однако, чугунная просвира?

— А это, видите-ли, особь статья. И если угодно, я вамъ все это сейчасъ по порядку.

V.

— Дѣло это не такъ, чтобы ужъ очень давнее, однако, земская давность съ той поры прошла съ хвостикомъ. Строили у насъ въ городѣ богоугодное заведеніе. Умеръ милліонеръ-купецъ и, умирая, завѣщалъ на это весь свой огромный капиталъ.

Началось все это чинъ-чиномъ. Выбрали, конечно, комиссію. Городъ у насъ, смотрите, какой,—настоящихъ людей искать не приходилось. Нашелся въ предсѣдатели даже графъ одинъ, не у дѣлъ находившійся, а въ члены вошли и купцы именитые, и инженеръ одинъ—помѣщикъ, и протопопъ соборный.

Кажись, публика все—первѣйшій сортъ, анъ—вышелъ такой срамъ, что только плюнуть да перекреститься. На бѣду, по тому времени еще такихъ деликатныхъ словъ, какъ экспропріація, изобрѣтено не было, и такъ это и пришлось полностью сказать—проворовались.

Кто тутъ коноводомъ былъ,—теперь самъ Архимедъ не высчитаетъ. Но такъ надо думать, что графъ съ инженеромъ особенно постарались, потому инженеру къ своему имѣнію надо было узкоколейную дорогу проводить, а путь шелъ по болотамъ, графъ же въ ту пору съ одной московской звѣздой запутался до того, что каждую недѣлю сталъ дважды въ первопрестольную кататься, а потомъ тамъ и вовсе засѣлъ.

Тянулось это дѣло годъ, и другой, и третій. Только какъ это всегда въ такихъ случаяхъ бываетъ, разъ проснулась честная компанія и почувствовала, что ей труба и на всѣхъ шапки горятъ.

Въ закромахъ ни зерна, разговоръ по городу гуломъ гудетъ, передъ инженеромъ—тѣ же неосушенныя болота, но ужъ ни сантима въ карманѣ, у графа—голова болитъ

со вчерашнято московскаго похмѣлья, а богоугодное заведеніе стоитъ на главной улицѣ безъ потолка, въ такомъ мизерномъ видѣ, что не только Богу не угодно, но и чорту въ немъ—никакой корысти. Ковали, ковали, а прямо семипудовый пшикъ вышелъ...

А тутъ среди рабьяго молчанія мѣстныхъ газетокъ, какъ бухнетъ вдругъ одна петербургская газета фельетономъ перваго лихача-фельетониста: «Вотъ какъ современныя вавилонскія башни строятся!»—такъ у насъ всѣ и обмерли, кто даже и касательства къ дѣлу не имѣлъ.

VI.

— Дошли до глухого вѣсти. Губернаторъ, конечно, сейчасъ комиссіи запросъ. Архіерей запросъ. Изъ Петербурга запросъ и назначеніе ревизіи. Съ соборнымъ протопопомъ нервное разстройство.

— «Я,—говоритъ,—дѣйствительно, виновенъ, но только въ томъ, что, кромѣ перваго учредительнаго засѣданія, я въ комиссіи ни разу не былъ, а подписывалъ не знаю что. Ежели,—говоритъ,—они тамъ «Отче нашъ», за милую душу, не разъ подписывали, такъ я, можетъ быть, и «Отче нашъ» подписалъ. Хулу на начальство—и ту подмахивалъ».

Бросились къ журнальнымъ книгамъ,—тамъ, дѣйствительно, если не «Отче нашъ», такъ дважды два—семьдесятъ четыре.

Осса на Пеліонѣ-съ! Знаете, какъ иногда мальчуганы въ школѣ отвѣтъ по задачнику подгоняютъ. Лишь бы концы съ концами сошлись, а въ серединѣ—хоть гречневая каша!

Были тутъ въ городѣ нашемъ плачъ, и рыданіе, и вопль многъ. Сунулись туда и сюда за деньгами,—ничего не вышло. Растерялись наши первачи, и грозила имъ всѣмъ и потеря имѣній, и разжалованіе и, можетъ быть, даже далекая Владимірка...

VII.

— Въ эту самую минуту, когда графъ рвалъ на себѣ остатки волосъ, а графиня пребывала въ обморокѣ, и пошла вдругъ въ ходъ наша «Чугунная просвира».

Графъ ли къ нему въ отчаяніи притекъ, самъ ли онъ къ графу заявился, только очутились они вмѣстѣ передъ графскимъ столомъ.

— Невозможно,—говоритъ Скудрулъ,—чтобы вамъ спасенія не было. Тутъ, говоритъ, надо только хорошо подумать.

— Чего же тутъ думать, когда все это дѣло въ шнуровыхъ книгахъ прописано!

— А вы, говоритъ, все-таки позвольте мнѣ подумать.

Думалъ Ананія Давидычъ до вечера, а вечеромъ опять къ графу.

— Можно, говоритъ. Только это копѣйка въ копѣйку пять тысячъ стоить будетъ, и, можетъ быть, на верхосытку еще тысченка понадобится.

— Какъ же вы это устроите?

— А это ужъ мой секретъ.

— Вы же спеціалистъ по убійственнымъ дѣламъ да по бракоразводной канители, а здѣсь-то вы при чемъ?

— Тутъ,—отвѣчаетъ,— я долженъ буду тоже одно самоубійство продѣлать, но надъ самимъ собою,—вы не опасайтесь.

Въ концѣ концовъ, поладили и предоставили Просвирѣ орудовать. Просвира говоритъ:

— Я отъ васъ одного прошу. Пришлите вы всѣ эти шнуровыя книги и журналы ко мнѣ, будто вы меня на провѣрку пригласили. Только сдѣлайте это такъ, чтобы это степенные люди видѣли,—ну,—нотаріусъ, что ли, отецъ протопопъ, еще кто-нибудь.

— А дальше что?

— А дальше,—извините,—мнѣ очень некогда. Я 25-го

декабря въ самый день Рождества Господа Нашего Іисуса Христа у себя елочку устраиваю, — «древо искупленія», и почтенныхъ городскихъ людей созываю, такъ мнѣ всѣхъ оповѣстить надо.

VIII.

Поладили, въ концѣ концовъ, со Скудруломъ, и въ самое Рождество были у Ананія Давидыча пиръ и веселіе веліе.

Жилъ онъ съ какой-то вдовой племянницей, а у той дѣвочка махонькая, такъ лѣтъ пяти-шести бѣгала. Скудрулъ и ту, и другую своимъ гостямъ представилъ.

— Хорошая, говоритъ, дѣвочка, только шалунья большая. Въ прошломъ мѣсяцѣ мою бобровую шапку въ пустую печку запихала,—счастье, прислуга увидѣла. Не хорошо, Сонечка, не хорошо, дѣточка!..

Молодежь около елки въ игры играетъ, въ кабинетѣ у горящаго камина старички судачатъ. Народу полонъ домъ, —вся консисторія, исправникъ, архіерейскій секретарь, честной причтъ церковный.

Только какъ всѣ за столъ сѣли, какъ-будто откуда горѣлымъ потянуло. Барыни на свои подолы съ безпокойствомъ смотрятъ, кавалеры съ мѣстъ повскакали. Не елка ли вспыхнула?

Сунулся кто-то въ кабинетъ и выскочилъ неистово.

— Ананія,—кричитъ,—Давидычъ! Скорѣй сюда! У васъ несчастье! Ваша дѣвочка какія-то книги и бумаги въ каминъ побросала! И елка занимается!..

Выскочили всѣ, смотрятъ—правда. Въ каминѣ какая-то огромная книга горитъ,—одинъ переплетъ остался, на полу дотлѣвающіе листы разбросаны, а Сонечка, младенецъ несмышленочекъ, сидитъ на дѣтскомъ стуликѣ, тоненькими ножками подрыгиваетъ, елочку поджигаетъ и, какъ Неронъ, симъ зрѣлищемъ любуется.

IX.

Скудрулъ какъ вбѣжалъ, такъ и остолбенѣлъ.

— Боже мой!—кричитъ.—Да вѣдь это она строительные отчеты сожгла! Что она со мной сдѣлала! Ахъ, мнѣ дурно! Воды!..

И такъ на землю и сѣлъ, — хорошо, что не навзничь упалъ. Глубочайшій, изволите видѣть, обморокъ. Насилу отпоили и въ чувство привели.

Такъ кончился пиръ нашъ бѣдою, и пока клещи доставали да за нашатырнымъ спиртомъ для Ананіи бѣгали,— каминъ-то даже потускнѣлъ. Только тоненькую стопочку, безъ начала и конца, изъ него выхватили, а въ шнуровой книгѣ только какія-то верхушки спаслись.

Ананія Давидычъ, какъ въ себя пришелъ, такъ первымъ долгомъ къ себѣ Сонечку потребовалъ.

— Ахъ, ты, говоритъ, негодный ребенокъ! Погубилъ ты по неразумѣнію собственнаго своего благодѣтеля.

И собственноручно ушко ей при всей публикѣ пребольно отодралъ. А потомъ, благо тутъ исправникъ случаемъ былъ, попросилъ все это прискорбное происшествіе запротоколить, и отъ наиболѣе почтенныхъ гостей слабымъ голосомъ рукоприкладство попросилъ.

На «древѣ же искупленія» свѣчи всѣ сейчасъ же погасили, — до елки ли ужъ, въ самомъ дѣлѣ, при такомъ огорченіи!

X.

Ну, само собой, у насъ только ахнули, до чего человѣколюбно Господь Богъ все это въ своей премудрости строилъ!

Комитетскіе наши воскресли, а Ананія Давидычъ, въ великомъ удрученіи и чуть что не посыпавъ голову пепломъ,

сейчасъ же въ Питеръ помчался «дѣло улаживать». Тысченку ему на соотвѣтствующіе расходы соорудили, а пріѣхавшей ревизіи пришлось обгорѣлый переплетъ посмотрѣть да устными показаніями заказчиковъ и подрядчиковъ удовольствоваться.

Само собой, комитетъ слетѣлъ, и кто на службѣ находился, — право службы впредь навсегда потерялъ, но всѣ это приняли съ великимъ сердца смиреніемъ, яко должное. То ли бы еще быть могло, да не хочетъ Богъ смерти грѣшника...

Ананія Давидычъ примѣрно черезъ мѣсяцъ вернулся и, конечно, засталъ у себя бумагу, отрѣшавшую его отъ службы. И онъ это принялъ съ христіанскимъ смиреніемъ. Промолвилъ только: «что же возьмешь съ ребенка несмышленочка» и даже ушей на этотъ разъ Сонечкѣ не тронулъ.

Сдѣлалъ онъ было визитъ къ губернатору, — губернаторъ его не принялъ. Поѣхалъ къ архіерею «объясниться» и просвиру ему полуторафунтовую повезъ. Владыка его тоже видѣть не пожелалъ.

— Ну, такъ,—говоритъ,—передайте его преосвященству вотъ эту просвирочку. Я ее за его здравіе у Исаакія подавалъ. Пускай скушаетъ...

Но владыка и просвиры не принялъ, а выслалъ ее ему обратно съ келейникомъ и сказать приказалъ.

— Я, говоритъ, до чугунныхъ просвиръ не охотникъ. Просвирочка-то, дѣйствительно, за недѣлю сильно зачерствѣла... Вотъ съ той самой поры, по владычному почину, и нѣтъ ему у насъ другого имени, какъ «Чугунная просвира»...

КОНЕЦЪ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		стр.
1.	Бѣлый дурманъ (Петербургскій разсказъ)	5
2.	Ангелъ благого молчанія	21
3.	Подъ звѣздами	35
4.	Послѣ двѣнадцати ночи	47
5.	Слабый полъ	65
6.	Миражъ на болотѣ	77
7.	Юмористъ	95
8.	За чудомъ	127
9.	Фениксъ (Изъ книги «Мистическихъ разсказовъ»)	143
10.	Призрачный часъ (Петербургская фантазія)	163
11.	Гомункулъ	179
12.	Второй Шаляпинъ	189
13.	Древо искушенія	227

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

КНИГИ А. А. ИЗМАЙЛОВА:

Черный воронъ.

Второе изданіе.

Первая книжка разсказовъ.

Черный воронъ.—Ночь.—Миражъ.—Златыя уста.—На ранней зорькѣ.—Генеральная идея.—Волкъ.—Сокровенная икона. — Рыболовы.—Самородокъ.—Праздничный гость.—Іонино счастье. — Демокритъ. — Облава.—Дамокловъ.—Мечъ.—Капитальный трудъ.—Непредвидѣнный пунктъ. 1903. Цѣна 1 р., 382 стр.

Рыбье слово.

Вторая книжка разсказовъ.

Рыбье Слово.—Сонъ въ Иванову ночь.—Вампиръ.—Обида.—Весенняя сказка.—Навожденіе.—Корреспонденція.—Три пункта.—Енотовая шуба.—Обманъ.—Волшебный фонарь. 1903. Цѣна 1 руб., 300 стр.

Въ бурсѣ.

Третья книжка разсказовъ.

Въ бурсѣ, бытовая хроника въ двухъ частяхъ.—Разсказы: Odor moris (запахъ смерти).—Христославы.—Досифеевъ грѣхъ.—Хиромантъ. 1903. Цѣна 1 руб., 300 стр.

Осени мертвой цвѣты запоздалые.

Четвертая книжка разсказовъ.

Осени мертвой цвѣты запоздалые.—Барышня изъ стараго дома.—Товарищъ.—Ворона.—Букинистъ.—Весенній громъ.—Ніобея.—Гордіевъ узелъ.—Владычный подарокъ.—Вольтерьянская книга.—Свѣтлое явленіе.—Человѣкъ, котораго подозрѣваютъ. 1905. Цѣна 1 руб., 304 стр.

Ураганъ.

Пятая книжка разсказовъ.

Ураганъ (романъ).—Капитанъ Немо.—Пропавшая грамота.—Ржавчина.—Аппартаменто.—Кто онъ и др.

Разсказы.

Книжка 6-я.

Бѣлый дурманъ.—Ангелъ благого молчанія.—Подъ звѣздами.—Послѣ 12-ти ночи.—Слабый полъ.—Миражъ на болотѣ.—Юмористъ.—За чудомъ.—Фениксъ.—Призрачный часъ.—Гомункулъ.—Второй Шаляпинъ.—Древо искупленія. Изд. Шиповника. Ц. 1 р.

20 = 843582/1186
(40)
лпс 7369/8

Стихотворенія.

Лирика. — Баллады. — Русскіе сказы. — Изъ старыхъ тетрадей. 1905. Цѣна 70 к., 180 стр.

Кривое зеркало.

Третье изданіе „Шиповника".

Пародіи, шаржи, литературные анекдоты.—Исторія русской литературы въ пародіяхъ.—Рождественскіе крендели.—Послѣдній графоманъ.—Пятна на солнцѣ.—Послѣдышъ.—Знаменитыя встрѣчи и др. 1910 г. Цѣна 1 руб.

Обреченные,

драма въ 4 дѣйствіяхъ (изд. журнала „Театръ и Искусство.") Цѣна 2 руб.

На переломѣ.

Литературныя размышленія.

В. Брюсовъ.—Вячеславъ Ивановъ. — Андрей Бѣлый.—З. Гиппіусъ.—А. Каменскій.—А. Блокъ.—Кузминъ и др. Второе изд. журнала „Театръ и Искусство». Цѣна 20 коп.

Помраченіе божковъ и новые кумиры.

Новыя вѣянія въ литературѣ. Леонидъ Андреевъ.—Арцыбашевъ.—Бальмонтъ.—Брюсовъ.—Блокъ.—Городецкій.—Вяч. Ивановъ.—Гиппіусъ.—Мережковскій. — Сологубъ. — Каменскій. — Минскій.—Андрей Бѣлый.—Дымовъ.—Кузминъ.—Ценскій.—Ауслэндеръ.—1909. Ц. 1 р.

Литературный Олимпъ.

Воспоминанія и характеристики. Левъ Толстой.—Чеховъ.—Горькій.—Андреевъ.—Купринъ.—Ясинскій.—Сологубъ.—Соловьевъ.—Саліасъ и др.

Кнутъ Гамсунъ

(въ сотрудничествѣ съ М. П. Благовѣщенской).

Біографія и литературная характеристика. Изд. Шиповника. Ц. 1 р. 25 к.

ВЪ ПЕЧАТИ:

Литературный Олимпъ.

Т. 2-й.—Мережковскій.—Амфитеатровъ.—Розановъ. — Бунинъ. — Арцыбашевъ.—Бальмонтъ.—Вяч. Ивановъ.—Гиппіусъ.—Ремизовъ.— Чириковъ.—А. Блокъ.—Будищевъ и др.

INFORMATION CONSERVATION INC

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00005618496